

# Владимир Кунин

## Привал

Тридцатого марта 1945 года к командующему Первой армией Войска Польского генералу Станиславу Поплавскому прямо на командный пункт неожиданно прикатил командующий Вторым Белорусским фронтом маршал Рокоссовский.

Первым затормозил «додж»-три четверти с десятью автоматчиками личной охраны, вторым — камуфляжно размазанный легковой «ЗИС» с маршалом, его личным адъютантом — подполковником и младшим лейтенантом — водителем. Следом остановился еще один «додж», на котором была смонтирована счетверенная зенитно-пулеметная установка для защиты командующего фронтом от внезапного нападения с воздуха.

Уже несколько дней Рокоссовский был простужен и чувствовал себя отвратительно. Он болезненно втягивал голову в плечи, прятал подбородок в меховой воротник довоенного комсоставского, порыжевшего от старости кожаного реглана и зябко поводил плечами. Его знобило, глотать ему было больно, разговаривать трудно. От переносицы к вискам и надбровным дугам разливалась тупая непрерывная боль.

Командующий польской Первой армией — огромного роста, толстенный, могучий Поплавский — в эту секунду был на связи с генералом Голембовским, командиром одной из своих пехотных дивизий, которая вела стремительный и жестокий бой за небольшой польский городок. В масштабе общего наступления весны сорок пятого городок был сам по себе ерундовый, плюнуть некуда, однако только в нем сохранились нетронутыми железнодорожные подъезды, по которым немцы гнали эшелоны с подкреплением для своей отступающей армии.

— Хорошо идете!.. Еще быстрее! Не давайте опомниться! Ты меня слышишь, Голембовский?! Быстрей, говорю!!! — кричал в трубку полевого телефона огромный Поплавский.

Рокоссовский поморщился и болезненно сглотнул. Подполковник — его адъютант — тут же достал большой термос, толстую фаянсовую кружку, расписанную аляповатыми петушками, и налил маршалу крепкого горячего чаю.

— Слушай, Голембовский!.. Слушай же, черт бы тебя побрал!.. — орал Поплавский в трубку. — Повтори!.. Что?..

Он плохо слышал Голембовского, напрягался, стараясь понять, что ему отвечают с того конца провода, но голос оттуда то затихал, то пропадал вовсе, и от этого Поплавский кричал еще громче, еще яростнее. В какую-то секунду он совсем перестал слышать Голембовского и, взбешенный, повернулся к стоящим позади него...

И увидел Рокоссовского, который, нахохлившись, сидел за столом, согревал руки на фаянсовой кружке с горячим чаем и мелко прихлебывал из нее. Поплавский вытянулся, прикрыл ладонью микрофон трубки, набрал полную грудь воздуха, собрался доложить, но Рокоссовский махнул рукой и хриплым шепотом сказал:

— Отставить. Дивизия Сергеева подошла?

— Так точно! Уже минут сорок работают вместе.

Поплавский спохватился и крикнул в трубку:

— Голембовский! Оставайся на связи!.. — и снова закрыл трубку телефона ладонью, напоминающей по величине малую саперную лопату.

— Отлично, — тихо сказал Рокоссовский. — Дай команду перекрыть все подходы к городу — лишить немцев возможности получить подкрепление. Тогда будет меньше крови... Город взять. Продолжай!..

Он снова склонился над кружкой, вдыхая горячий чайный пар. Поплавский с удвоенной силой закричал в трубку полевого телефона:

— Голембовский! Януш!.. Ты меня слышишь, Януш? Ты меня слышишь, я тебя спрашиваю?!

Тридцатого марта 1945 года земля дрожала от танкового грохота, взрывов и топота тысяч солдатских сапог...

Холодный серый весенний воздух был разорван десятками «Илов». Они шли бредущим, на малых высотах, и чудовищный рев их двигателей, многократно отраженный от близкой земли, вбирал в себя почти все остальные звуки.

Дымным пламенем горели обозные повозки, плавилась броня самоходных орудий, в смертельном вальсе крутился на одном месте польхающий танк с разорванной гусеницей.

Бежали и падали, бежали и падали солдаты в польской и советской форме. В беззвучном крике искажались мокрые, яростные лица. Захлебывались кровью, хрипом, слезами, застывали — изломанные, обмякшие, мертвые...

Но в пик, казалось бы, уже невыносимого отчаяния все вдруг кончилось: чуть ли не разом ушли вперед все звуки, рассеялся дым над клочковатым хуторским полем, стал различим в полутора километрах утренний силуэт маленького городка, а рядом с полем обнаружился горящий хуторской сарайчик.

Стало вдруг так тихо, что можно было услышать треск полыхающего дерева и чье-то тоненькое жалобное повизгивание и возню внутри горящего сарайчика.

А потом... То ли это прилетел запоздалый шальной снаряд, то ли рванула одинокая мина, то ли в самом сарае не снесла нестерпимого жара бочка с керосином, но в почти полной тишине вдруг раздался оглушительный взрыв, крыша сарая поднялась и поплыла по небу, стены стали медленно оседать и рассыпаться, и из-под взметнувшихся горящих обломков на маленькое, раскисшее от весенних дождей хуторское поле вылетело десятка полтора тощих, грязных свиней!..

С ледянящим душу визгом, доходящим до панического хрипа, свињи заметались по полю. Но поле оказалось минированным. Первый же грязный фонтан взрыва вскинул растерзанную свињу в воздух, а затем вместе с опадающими комьями дымной мокрой земли шмякнул ее о черное весеннее поле.

Рванула вторая мина — взлетели в воздух кровоточащие клочья только что жившей, ни в чем не повинной свињи... Третья — и еще одна, поджарая, голодная, с черными подпалинами на спине и брюхе, была отброшена на десятки метров с вывернутыми лиловато-розовыми горячими внутренностями. Она еще скребла по земле своими тоненькими копытцами, а в воздухе уже повис четвертый фонтан взрыва. Он был почти не слышен из-за жуткого визга, хрипа и стона несчастных свиней, бессмысленно мечущихся по полю в поисках жизни и натякающихся на неумолимую смерть...

Тридцатого марта 1945 года на пустынном вокзальном перроне маленького польского городка стоял пожилой толстенький начальник станции, тряся, как огородное пугало на ветру, от страха, тоски и безысходности и ждал прибытия немецкого эшелона. Кроме него, на перроне не было ни одной живой души.

Не сходя с места, начальник станции умудрялся все время производить какие-то не совсем осмысленные механические движения — он нервно переступал, покачивался, крутил головой, расстегивал и застегивал свою форменную тужурку, поправлял фуражку, тихонько охал и постанывал от ужаса. И если бы он не стоял на месте, будто приклеенный к серому перронному бетону, про него можно было бы сказать, что он мечется из угла в угол.

Чудом уцелевший вокзал представлял собой унылую железнодорожную постройку конца прошлого, а может быть, начала нынешнего века, со ржавыми и безвкусными железными завитушками ограждений, перильцами подземных переходов ко второму перрону и низкими заборчиками, за которыми проглядывали чахлые деревца привокзального садика.

Рельсы, пролежавшие у перронов, совсем неподалеку уже уходили в обычные разъездные переплетения, а в трехстах метрах, сразу за такой же унылой, как и вокзал, краснокирпичной водокачкой, сворачивали влево и переставали быть видными из-за различных станционных строений.

Вот оттуда-то и показался медленно ползущий немецкий эшелон. Начальник станции увидел эшелон, руки у него затряслись, толстенькое тельце забила дрожь, и он с величайшим трудом подавил внезапный приступ тошноты. Он беспомощно оглянулся, моля Бога дать ему силы не потерять сознание.

И тогда совсем рядом, из-за его спины, раздался негромкий спокойный голос с характерным «акающим» московским говорком:

— Анджей, послушай... Ну скажи ты этому дураку, чтобы он успокоился.

— М-гу... — пробурчал кто-то в ответ и по-польски тихо рявкнул на начальника станции: — Что ты дергаешься, как свиња на веревке?! Стой смирно! Улыбайся, пся крив!..

И начальник станции застыл с мученической гримасой, которая должна была, по его представлениям, изображать приветливую улыбку.

Медленно и осторожно подползал к перрону немецкий эшелон. Из-под паровоза ритмично била струя белого пара, свежей влагой оседала на земле, на черной мазутной щебенке, соседних рельсах, стрелках. Неторопливо погромыхивали на стыках колеса. Перестук становился все реже и реже, послышался звонкий тормозной ляг буферов, эшелон совсем уже медленно вполз под дырявое, проржавевшее и простреленное перронное перекрытие на ажурных кронштейнах и остановился. Паровоз печально вскрикнул, выпустил длинную струю пара и затих.

В составе было несколько товарных вагонов, один пассажирский — штабной — и штук семь открытых платформ с военной техникой, заботливо и аккуратно укутанной брезентовыми чехлами.

Из товарных теплушек посыпались немцы. Они тут же строились в четыре шеренги по всей длине состава. Это были солдаты последних тотальных призывов — старики и мальчишки. Серые от недоедания лица, серо зеленая мешковатая форма, тонкие шеи из широких воротников...

Выскочили офицеры из штабного вагона, забежали вдоль строя, подгоня замешкавшихся, неумелых, не бывавших еще ни в одном бою, испуганных, задержанных людей, которым всего лишь несколько дней тому назад насильно впили в руки оружие и под трескучие лозунги согнали в единое стадо.

Последним из штабного вагона вышел немолодой полковник.

Он встал перед строем, выслушал рапорт старшего офицера о готовности личного состава к дальнейшим действиям и вставил в правый глаз старый монокль на черном шелковом шнурке. Сделал он это так легко, изящно и привычно, что никому не могло бы прийти в голову обвинить полковника в кокетливом фанфаронстве.

Полковник оглядел замерший перед ним строй и на секунду подумал о том, что все эти несчастные люди уже никогда не вернуться под крыши своих домов, что все они и он сам — старый кадровый штабной

чиновник, ставший в последние трагические для Германии дни строевым офицером, обречены и дело лишь только в том, когда это произойдет, как долго судьба позволит им еще дышать на этом свете...

Но он взял себя в руки, откашлялся и произнес:

— Солдаты! Вы прибыли...

Однако в ту же секунду, перекрывая полковничий голос, далекую орудийную канонаду и близкое ритмичное посапывание паровоза, с крыши вокзала, из огромных динамиков МГУ — «мощной говорящей установки» — раздалась чистейшая немецкая речь:

— Внимание!!! Внимание!!! Полтора часа тому назад город занят частями Первого Белорусского фронта и войсками Первой армии Войска Польского. Во избежание ненужного кровопролития предлагаю немедленно сложить оружие и сдаться в плен.

Несколько человек метнулись из строя, кто-то стал сдергивать с плеча автомат, но из верхних окон вокзала два крупнокалиберных пулемета прогрохотали короткими очередями поверх голов немцев.

Со звоном вылетели стекла в штабном вагоне, теплушки брызнули деревянными осколками, и немцы замерли, боясь пошевелиться.

— Стоять!!! — оглушительно произнесли репродукторы. — Еще одно движение — и все будут уничтожены за пятнадцать секунд!

Несколько танковых орудий, взламывая оконные переплеты нижних вокзальных окон, высунулось из закопченного краснокирпичного здания на перрон, деловито развернулось и взяло под прицел весь эшелон от паровоза до последней платформы.

«Это сон... — пронеслось в голове у полковника. — Кошмарный сон!.. Этого не может быть!.. Неужели наступило это?! Что же делать?..»

И словно отвечая ему, с крыши вокзального здания репродукторы приказали:

— Немедленно сложить оружие и сдаться в плен! Отогнать состав на запасный путь!

Пустой эшелон послушно двинулся и, набирая ход, покатился к водокачке. Открылся параллельный перрон второго пути, и полковник с ужасом увидел на нем цепь польских и русских автоматчиков. Стволы автоматов были направлены в спину немецкому строю.

«Боже мой, что же это? Какая-то чудовищная, совершенно опереточная ситуация!» — успел подумать полковник. У него выпал из глаза монокль и беспомощно повис на черном шелковом шнурочке.

— Кругом!!! — гаркнули по-немецки репродукторы.

Строй дисциплинированно повернулся, и немцы увидели, что они окружены... С лязганьем полетели на перрон карабины и автоматы.

Из центральных дверей вокзала спокойно вышел капитан Войска Польского Анджей Станишевский, и следом за ним на перрон тотчас выскочил старший лейтенант Красной Армии Валера Зайцев. В течение нескольких секунд из всех вокзальных дверей появились около сотни советских и польских солдат.

Не имея больше сил держаться на ногах, начальник станции прислонился к кирпичной стене и тихонько шептал молитву.

— Катись отсюда к такой-то матери! — по-польски приказал ему Станишевский.

Начальник станции не заставил Станишевского повторить приказание и буквально растворился, словно классическое привидение при первом утреннем петушином кукареканье.

— Андрюха! — восхищенно прошептал Валера Зайцев. — Смотри, какой генерал!.. Ну просто не генерал, а крем-брюле!

— Это не генерал, — сказал Станишевский. — Полковник.

Он уверенно подошел к немецкому полковнику и откозырял ему. Затем вытащил у него из кобуры «вальтер», сунул его к себе в карман и показал полковнику на вокзальную дверь.

— Андрюшенька! Голубчик... — взмолился Зайцев. — Отдай его мне! Я тебе за него что хочешь! Андрюха, будь друг, а?..

На долю секунды Станишевскому стало жалко этот полковничий «вальтер».

— Ладно, бери... — с нескрываемым сожалением проговорил Станишевский и вытащил «вальтер» из кармана.

— Да не это!.. — отчаянно зашептал Зайцев, держа полковника на мушке. — Ты мне генерала отдай!

— Это не генерал, а полковник.

— Черт с ним, пусть полковник... Зато какой солидный! У меня такого еще никогда не было. Отдай!

— Да бери, дерьма-то! — облегченно улыбнулся Станишевский и с удовольствием спрятал «вальтер» в карман. — Мам го в дупе того пулковника! С тебя сто грамм.

— Бутылка! — счастливо крикнул Зайцев и пихнул полковника автоматом к вокзальным дверям: — Айда, ваше благородие...

Капитану Станишевскому было двадцать семь лет, старшему лейтенанту Зайцеву — двадцать три.

Они познакомились полтора года тому назад, когда двенадцать тысяч поляков Первой пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко и танкового полка имени Героев Вестерплатте вместе с частями Красной Армии прошли через Ярцево и Смоленск под Ленино, с тяжелыми боями форсировали Мерею, овладели

деревнями Ползухи, Трегубово и заняли высоту 215,5. Это было в ночь с двенадцатого на тринадцатое октября 1943 года, в ноль часов тридцать восемь минут. А уже спустя три часа, в предутренней осенней темноте, младший лейтенант Валерка Зайцев — москвич, нахал, хвостун и хитрюга, не знающий сомнений ни при каких, казалось бы, самых безвыходных ситуациях, — тащил на себе в медсанбат польского подпоручика Анджея Станишевского, который шпарил по-русски не хуже самого Валерки. Конечно, многих слов, которыми Валерка пользовался легко и свободно, Станишевский еще не знал, но Валерка подозревал, что такие слова, наверное, есть и в польском языке.

Осколком мины у Станишевского была разорвана спина и, по всей вероятности, задето легкое: как только он начинал говорить, изо рта у него выступала кровавая розовая пена. Она превращалась в два тоненьких ручейка, сползала ему на подбородок, затекала за воротник мундира и сильно пачкала гимнастерку и ватник Валерки Зайцева.

К тому времени, когда ватник Зайцева почти пропитался кровью Станишевского, они натолкнулись на пожилого санинструктора и двух медсанбатовских санитарок. Валерка передал хрипящего Станишевского в руки измочаленных и перепуганных медиков.

На следующие сутки, во время короткой передышки, Валерка Зайцев отпросился у своего командира роты и на попутной машине примчался в медсанбат с гостинцем для Станишевского — банкой американской тушенки «второй фронт».

К Станишевскому Зайцева не пустили. Того уже прооперировали, он находился в тяжелом состоянии и ждал отправки в тыловой стационарный госпиталь. Когда же Валерка стал слишком громко «качать права», на помощь двум сестричкам вышла худощавая женщина лет тридцати — хирург медсанбата, старший лейтенант Васильева Екатерина Сергеевна, и вышвырнула Валерку вместе с его гостинцами к чертям собачьим, запретив ему приближаться к палаткам санитарного батальона ближе чем на двести метров.

Настырный Валерка попросил передать своему новому «польскому корешу» хотя бы записочку. Огрызком карандаша он нацарапал на клочке бумаги свою фамилию, номер полевой почты и зачем-то даже свой московский домашний адрес. Ну и, конечно, всяческие пожелания...

Сорок суток Станишевский провел в благословенном тыловом краю, в фантастическом городе Алма-Ате, где по улицам и базарным рядам запросто ходили знаменитые москвичи и ленинградцы; известные писатели скромненько стояли в очередях, чтобы сегодня выкупить хлеб по завтрашнему талону; где на рынке красивые женщины торговали своим барахлишком, наспех выменивали постельное белье, облезлые муфты и нелепые вечерние платья на стакан меда, конскую колбасу «казы» и топленое масло, чтобы прокормить своих прозрачных от постоянного голода детенышей.

Госпитальные интенданты и разная административно-хозяйственная шушера через подставных лиц спекулировали яичным порошком, туалетным мылом, папиросами «Дели», американским шоколадом, спиртом.

Околобазарная шпана заводила игру в «три листика», начисто обирала аульных казахов в огромных лисьих треухах и стеганых халатах.

По вечерам ходячие раненые из госпиталей расползались по всему городу. Они возвращались в свои палаты только под утро. От них пахло водкой, дешевой губной помадой и резким одеколоном «Ала-Тоо» местного производства. Эти загипсованные, с заскорузлыми пятнами крови на повязках, с костылями и палками, с замотанными в бинты физиономиями, где зачастую оставались открытыми только край щеки, рот и один глаз, — но ходячие, самостоятельно передвигающиеся, выплескивали на лежащих сопалатников, прикованных к госпитальным койкам, красочные, циничные и бесстыдные рассказы о своих ночных похождениях со множеством фантастических подробностей, разухабистым враньем и жалкой лихостью. Понимание того, что большая часть этих историй соткана воспаленным воображением рассказчиков, не избавляло лежащих раненых от нервного и завистливого возбуждения.

А за госпитальными стенами по одну сторону в холодное синее небо уходили поразительной красоты белоснежные горы, от подножия которых стекали вниз к долине нескончаемые яблоневые сады. По другую сторону госпиталя лежал рассеченный полутемными улицами на геометрические квадраты кварталов переполненный ноев ковчег военного времени. В саманно-глинобитных пристройках к хозяйским домам под одной крышей ютились пять-шесть эвакуированных семей. Человек по полтора — двести жили в фойе и залах бывших кинотеатров. Жизнь и быт каждого ограничивались тремя-четырьмя квадратными метрами пола и немудрящими занавесками вместо стен. А над всеми этими человеческими зыбкими сотами был один потолок на всех — расписанный картинами из светлой довоенной жизни: встреча героев-папанинцев, перелет Чкалова через Северный полюс, радостные лица представителей всех республик, утопающих в изобилии гигантских овощей, фруктов, за которыми на втором плане слева паслись тучные стада, а с правой стороны новенькие сверкающие колесные тракторы стройными рядами вспахивали залитые солнцем колхозные нивы...

Десятки тысяч беженцев населяли этот город.

Каждый день от пакгаузов «Алма-Ата-2 Товарная» на фронт уходили эшелоны с продовольствием и новобранцами... Полуголодные казахские девочки вместе с эвакуированными лейтенантскими женами строчили армейские ватники и двупалые байковые рукавицы, чтобы зимой можно было стрелять, не снимая их с рук...

Заводишко, раньше выпускавший кетмени, косы, грабли и бороны, был для таинственности переименован в «военный завод № 3». Он стал делать из обычных грузовиков так называемые

«водомаслогрейки» для боевых самолетов, снаряды для семидесятишестимиллиметровых орудий и взрыватели для осколочных гранат Ф-1.

На Объединенной киностудии день и ночь творили наивные и глуповатые «фронтовые киносборники», выстроенные по принципу легенд о замечательном казаке Козьме Крючкове времен Первой мировой войны.

А за стеной, в соседнем павильоне, Сергей Эйзенштейн снимал «Ивана Грозного».

В помещении Казахского драматического театра Вера Марецкая играла Мирандолину в «Трактирщице». По госпиталям, прямо среди коек в палатах тяжелораненых, Бабочкин и Блинов играли сценки из кинофильма «Чапаев», Чирков — знаменитый Максим — пел под свою гитару надтреснутым тенорком «Крутится, вертится шар голубой...». Мелодекламации Лидии Атманакви сводили с ума санитарок и поварих, нянечек и раненых, врачей и представителей местной казахской власти:

*Но однажды весной лейтенант молодой,  
Покупая цветы в магазине,  
Взглядом, полным огня, посмотрел на меня  
И унес мое сердце в корзине...  
Зайдите на цветы взглянуть -  
Всего одна минута!  
Приколет розу вам на грудь  
Цветочница Анюта...*

А после концерта — в кабинете начальника суп из черепахи и тушеный кролик с серыми макаронами. Банкетик! И само собой, гонорар со склада ПФС, что значит «продовольственно-фуражное снабжение», — по килограмму ячневой или пшенной крупы, по бутылке хлопкового масла.

В оперном театре перед спектаклем и в антрактах без всяких карточек и талонов продавались жаренные черт знает на чем пирожки с луком и знаменитое «суфле» из солодового молока и свекловичного сахара. Оно было липким, сладким и на пару часов давало ощущение бульжной сытости...

Была в Алма-Ате польская военная миссия. Она помещалась в центре города, в обшарпанной двухэтажной гостинице со странным названием «Дом Советов», и занимала несколько лучших номеров.

Когда Станишевский выписался из госпиталя, он был туда приглашен. Там по приказу польского командования ему было присвоено очередное звание поручика, а по представлению советского командования вручен орден Отечественной войны второй степени.

Торжественная часть закончилась скромной пирушкой во славу польского оружия, в память и во здравие всех поляков — участников французской и русской революций. Говорились тосты за польских летчиков и пехотинцев, сражавшихся в Англии и Норвегии, Африке и Франции, за движение Сопrotивления в родной Польше и за поляков, вставших в один строй с русскими братьями против общего ненавистного врага — гитлеровцев...

На следующее утро Анджей проснулся в небольшом захламленном гостиничном номере. Рядом с ним спала маленькая миловидная блондинка со скорбными складочками у рта. Он тихо встал, неслышно оделся, пытаясь сообразить, кто эта женщина и как он тут оказался. И только когда увидел ее платье, аккуратно висящее на гвозде, вбитом прямо в дверь, вспомнил. В этом черном, расшитом стеклярусом и фальшивыми бриллиантами вечернем платье прекрасно пела одна эвакуированная артистка ростовской эстрады, которую звали... Вот как ее звали, Анджей и не вспомнил.

Он вышел в гостиничный коридор, притворил за собой дверь, и вдруг ему до боли в сердце, до слабости в ногах захотелось увидеть ту женщину — из медсанбата, хирурга, старшего лейтенанта Васильеву. Ее звали Екатерина. Екатерина Сергеевна. Увидеть ее, упасть перед ней на колени, зарыться лицом в ее руки, целовать их, бормотать нелепые, ласковые слова, заглядывать в глаза снизу вверх...

Он даже задохнулся от неожиданности! Почему? Откуда такое? Ведь ничего не было сказано, ни одного лишнего взгляда... Да и видел он ее всего одни сутки — с того момента, когда очнулся от наркоза, и до отправки в стационар. Ну передала ему записку от того русского паренька, который вытащил его из боя, — так это могла сделать любая... Ну погладила по щеке, когда его на носилках запихивали в медсанбатовский фургон... Так она всех раненых так провожает. Какого черта?! Почему ему вдруг показалось, что он просто не может без нее жить?..

Спустя две недели, преодолев три тысячи восемьсот километров самыми разными способами передвижения, он вернулся на фронт и, еще не появляясь в расположении своей дивизии, разыскал этот русский медсанбат, который не давал ему покоя теперь ни днем ни ночью.

Через старшину — дежурного фельдшера он вызвал старшего лейтенанта Васильеву Екатерину Сергеевну.

— Капитана Васильеву. Она теперь капитан медицинской службы... — мрачно поправил Станишевского огромный пожилой старшина и ушел.

Васильева выскочила на крыльцо в валенках, накинутом на плечи полушубке, кутаясь в обычный бабский пуховый платок. Увидела Станишевского, сразу узнала его и рассмеялась:

— Что, братец кролик, ожил? Быстро тебя на ноги поставили!..

Анджей не принял ее шутивого тона и сразу, с места в карьер, заявил, что любит ее и, кажется, не представляет себе без нее дальнейшей жизни.

Несколько секунд Васильева внимательно разглядывала Станишевского, затем улыбнулась, взяла за болтающиеся «уши» теплой зимней шапки, притянула к себе и поцеловала его в нос:

— Пупсик, я очень рада, что тебе это только «кажется». Это не смертельно. Свежий воздух, нормальное питание, крайняя осторожность в общении с местным дамским населением, — немцы здесь оставили уйму венерических, — и все пройдет! Если же эта маленькая постгоспитальная истерика примет более серьезные формы — приезжай. Я тебя вылечу. Потому что серьезная влюбленность может иметь чисто инфекционные последствия. А я совершенно не собираюсь этим болеть вместе с тобой. Понял?

— Нет, — упрямо сказал Станишевский.

— Тоже ничего страшного, — легко сказала Васильева. — Поймешь. А теперь чеши за мной, у меня есть для тебя маленький сюрприз. Вытри ноги!

И привела его в палату легкораненых, где «по случаю сквозного пулевого ранения левого бедра» самозабвенно лупил костяшками домино его спаситель — Валерка Зайцев...

За пятнадцать месяцев, отделявших их от совместного наступления на районы Польского Поморья, судьба сводила их еще несколько раз. За это время Зайцев успел получить орден Красного Знамени и внеочередное звание старшего лейтенанта за участие в одной очень рискованной вылазке, где его обычная наглость и поразительное везение решили успех дела и оставили его в живых.

Последние шестьдесят дней дивизия полковника Сергеева, где служили Зайцев и Васильева, была просто напросто придана Первой армии Войска Польского и взаимодействовала с польской дивизией генерала Голембовского на одних и тех же участках, в одном и том же направлении. Анджей Станишевский, уже в чине капитана, командовал ротой автоматчиков.

Бои шли тяжелые — мгновенные броски, ночные молниеносные передвижения частей, огромные потери. Поляки и русские буквально валились с ног от изнеможения. Поэтому Станишевский, хотя и знал, что медсанбат Васильевой находится где-то совсем рядом, так и не сумел ее повидать за эти последние два месяца...

Тридцатого марта 1945 года на Рыночной площади маленького польского городка шел торжественный молебен. Службу вел бывший командир минометной роты, ныне капеллан пехотной дивизии Первой армии Войска Польского майор Якуб Бжезиньский, облаченный в одежды католического ксендза.

Перед ним, в строгом строю, с обнаженными головами, стояла дивизия Голембовского вместе со своим сорокалетним генералом и замполитом — подполковником Юзефом Андрушкевичем, двадцати восьми лет от роду.

За спинами польского воинства толпились несколько сотен местных жителей. Из окон домов и балконов свисали красно-белые польские флаги. По улочкам, прилегающим к площади, на звучный напевный голос военного ксендза стекался народ. Женщины плакали.

В кузове «студебекера» с откинутыми бортами стоял походный алтарь. Чуть впереди, почти у самого края кузовной площадки, перед микрофоном «мощной говорящей установки», которая утром на вокзале заставила немцев сложить оружие, стоял капеллан Куба Бжезиньский и срывающимся от волнения голосом, в котором не было ни малейшего наигрыша, говорил о том, что если всегда за все справедливые свершения обычно люди благодарили Бога, то сегодня Господь Бог сам приносит благодарность своим верующим за долгожданное освобождение и возвращение исконно польских земель своему государству, своему народу... Нет предела Божьей скорби о павших в боях, нет большего желания у Бога, чем желание помочь страждущим и исцелить раненых, нет большего счастья у Всевышнего, когда со своих заоблачных высот он видит поистине братский союз двух народов — России и Польши! Ибо только в таком единении можно прийти к окончательной победе и восстановить мир на земле!

В уважительном молчании стояли несколько смущенные русские, вслушиваясь в голос капеллана, пытались понять, хотя бы по знакомым славянским созвучиям, о чем говорит этот военный священник, у которого из-под католического облачения откровенно выглядывали армейские яловые сапоги.

Из переулка на малом ходу, негромко урча двигателем, на площадь выкатилось самоходное орудие СУ-76. На пушке у него висел огромный венок из елового лапника, а по борту было написано большими белыми буквами: «Иван Лагутин». По всей вероятности, самоходка хотела пересечь площадь и двигаться дальше по какому-то своим самоходным делам. Но от группы советских солдат и офицеров неторопливо отделился огромный толстый пожилой медсанбатовский старшина Степан Невинный и пошел навстречу бронированному чудовищу.

Люк механика-водителя был открыт. Оттуда выглядывала любопытная измазанная мальчишечья физиономия в шлемофоне.

Невинный подошел вплотную и уперся в броню своими лапищами. Механик-водитель испуганно затормозил. Старшина показал ему кулак величиной со средний арбуз и скрестил руки над головой: дескать, глуши двигатель. Водитель немедленно выключил двигатель, и уже ничего не могло помешать торжественному богослужению.

Невинный презрительно оглядел экипаж, рассеявшийся на башне, и покрутил пальцем у виска.

— Остолопы нахальные, — негромко сказал он. — Разъездились.

Но в это время молебен закончился, послышались отрывистые команды на польском языке, и воинство стало натягивать на головы шапки-ушанки, конфедератки, пилотки.

Строй сломался, поляки сразу же смешались с россиянами, где-то уже пошли фляжки по кругу, кто-то из запасливых «стариков» польской дивизии волок через площадь отощавшую покорную корову, на шее у которой висел карабин ее нового неожиданного хозяина...

Опасливо поглядывая на огромного Невинного, механик-водитель самоходки завел двигатель и осторожно стал пробираться сквозь толпу, время от времени оскальзываясь траками своих гусениц о каменную брусчатку старой Рыночной площади, выложенную лет четыреста тому назад...

Якуб Бжезиньский подобрал свои священные одежды и прыгнул со «студебекера». Его сразу же окружили несколько польских офицеров, среди которых был и Анджей Станишевский. Он помог Бжезиньскому снять католическую рясу, под которой у него оказался нормальный военный мундир с майорскими погонами, крестом, медалями и советским орденом Красной Звезды. Только на воротнике, где обычно прикрепляются эмблемы рода войск, у капеллана были маленькие католические крестики.

— Спасибо, Куба, — тихо сказал Станишевский. — У меня в горле прямо комок стоял...

Капеллан поднял на Станишевского растерянные влажные глаза.

— Знаешь... — сказал он и откашлялся. — Я когда все вот это увидел... — Он показал на балконы домов с флагами и людьми, обвел глазами забитую народом площадь. — Я когда вот это все увидел, я сам чуть не расклеился, — повторил Бжезиньский.

Голос у него перехватило, он снова откашлялся и сипло спросил:

— Закурить есть?

Станишевский достал сигареты. Руки капеллана тряслись от волнения, он никак не мог вытащить сигарету из пачки и виновато улыбался.

В это время через площадь из какого-то переулка вылетел «додж» — три четверти с красным крестом на борту. В нем рядом с шофером сидела Екатерина Сергеевна Васильева — майор медицинской службы, старший хирург отдельного санитарного батальона Красной Армии. Сзади нее сидели две молоденькие сестрички с тюками только что полученного перевязочного материала.

Васильева внимательно вглядывалась в толпу, кого-то искала. И вдруг увидела пожилого старшину Степана Невинного.

Старшина стоял в окружении нескольких солдат и штатских и внимательно слушал старенького, аккуратно одетого поляка, который рассказывал, наверное, что-то печальное, потому что у всех стоящих вокруг были грустные лица. А неподалеку от них маленький бродячий оркестрик настраивал свои немудрящие инструменты.

— Невинный! — крикнула Васильева и повернулась к шоферу: — Тормози! Невинный, черт бы тебя побрал! Иди сюда!..

Старшина мгновенно пожал руку польскому старичку и побежал к «доджу».

— Где ты шляешься?! Тебя с собаками не сыщешь!

— Ох, Екатерина Сергеевна... Товарищ майор!.. Здесь такое было, — с ласковым восхищением проговорил Невинный. — Товарищ майор Бжезиньский... Помните, командир минометчиков? В начале сорок четвертого у нас лежал... Так он у них теперь — «батюшка»! И все — честь по чести! Так службу вел, ну просто...

— Тебе-то что? Ты что, верующий, что ли?!

— Да ведь как сказать... Когда за две войны тебя не зацепит ни разу, поневоле во что-нибудь поверишь, — улыбнулся Невинный.

— Садись в машину немедленно! Нам еще хозяйство разворачивать на новом месте... И так времени нет ни черта, а ты здесь лясы точишь с местным населением!

Старшина неловко полез в низенький кузов «доджа», а на звук голоса майора Васильевой уже продирался сквозь толпу капитан Анджей Станишевский и отчаянно кричал:

— Екатерина Сергеевна! Катя!..

В какую-то секунду Васильевой показалось, что кто-то зовет ее по имени, она удивленно вгляделась в толпу, никого знакомых не увидела и рывкнула на водителя:

— Чего варешку раскрыл? Давай двигай!

— Ой, товарищ майор, вы какая-то нервная сегодня, — с привычной фамильярностью личного шофера сказал младший сержант и искоса подмигнул сидевшей за его спиной сестричке.

Медсанбатовский «додж» уже заворачивал в боковую улочку, а вслед ему сквозь шум, песни и разноголосицу ожившей площади несся крик капитана Станишевского:

— Катя Васильева! Катя!..

Но маленький штатский оркестрик — гитара, барабан, аккордеон, труба и кларнет — во всю уличную мочь грянул знаменитое танго «Милонга», и голос Станишевского потонул в общем гаме...

И на все это внимательно смотрел обросший молодой человек в крестьянской тужурке, сшитой из грубого шинельного солдатского сукна, в разбитых сапогах и старенькой вязаной шапочке. Он держал облезлый велосипед, улыбался, когда его хлопали по плечу, отрицательно покачивал головой, когда ему

предлагали сплясать или выпить. Он был так похож на всех остальных, что отличить его от любого местного жителя было совершенно невозможно. Однако если бы с ним заговорили, а он ответил, то поляки мгновенно бы в его речи заметили иностранный акцент. И это тоже, пожалуй, никого бы не удивило и не насторожило. Ибо сегодня он мог бы назваться кем угодно — лужицким сербом, которые уже лет триста населяли районы Одры и Шпрее, да так и сохранили присущий только им акцент в немецком и польском языках, чехом, югославом, пригнанными сюда на работы еще несколько лет тому назад...

Пару раз парень задумчиво оглянулся на окна второго этажа небольшого дома, где у подъезда стояли польские и советские автоматчики и несколько легковых машин — «эмки», «виллисы», «хорх» и даже один старенький «газик», на котором прикатил взвод охраны.

Почти половину фасада дома занимала обшарпанная золоченая вывеска: «Ресторан и кабаре „Цум гольденен адлер“», что в переводе должно было означать: «Под золотым орлом». На витринном стекле первого этажа было начертано трогательное признание: «Каффе унд бир — дас лоб их мир» — «Кофе и пиво — вот что мне любо».

За окнами этого кабаре шло летучее совещание командного состава польских и советских подразделений, освободивших этот городок три часа тому назад.

Расположение помещений было классическим для заведений подобного типа: первый этаж — ресторанчик с небольшим танцевальным пятачком у маленькой эстрады. Там же — небольшая закулисная часть, кухня, подсобные помещения для посуды, провизии и второй, «черный» выход в небольшой дворик, имеющий, в свою очередь, прямое сообщение с одним из переулков, прилегающих к площади.

На втором этаже размещался небольшой игорный зал с одним большим столом для рулетки и несколькими столиками для игры в кости и карты. К игорному же зальчику примыкали хозяйские апартаменты.

Сейчас нижний, ресторанный зал был разгромлен, и поэтому совещание происходило на втором этаже, в сохранившемся игорном зале. Старшие офицеры польских и советских войск стояли вокруг большого стола с рулеткой и слушали сообщение командира польской дивизии генерала Януша Голембовского. На польских мундирах смешались советские и польские ордена, на русских кителях и гимнастерках — польские и советские награды. Полтора года (а чего стоил каждый день!) они воевали вместе. Между ними уже давно не было никаких «межсоюзнических» дипломатических отношений, никто не стеснялся в выборе выражений, когда дело не двигалось с места или шло наперекосяк.

На столе, рядом с рулеткой, стояло несколько полевых телефонов. Провода тянулись в окно. Молодой красивый парень — замполит польской дивизии подполковник Юзеф Андрушкевич — крутнул рулетку. Шарик побежал по кругу.

Генерал на полуслове прервал свое сообщение, грозно посмотрел на своего замполита и раздраженно спросил у начальника штаба советской дивизии:

- Куда вы нас запихнули? Что это такое?!
- Бывший ресторан, — спокойно ответил начальник штаба.
- Что, другого места не было? — разозлился полковник Сергеев.

Начальник штаба обиделся, промолчал. Во внезапно наступившей тишине слышно было, как бежал по кругу в рулетке шарик. Но так как в любой армии вопрос командира не может остаться без ответа, польский начальник разведки решил принять удар на себя.

— Штаб к вечеру будет перенесен в замок. Его сейчас разминируют, — доложил он.

— Чтобы через три часа было все в порядке! — приказал генерал и невольно проследил глазами за останавливающимся шариком. Теряя инерцию, шарик медленно перевалил через несколько номеров и замер в лунке, обозначенной цифрой "0".

— Зеро! Фантастическое везение!.. — восхищенно воскликнул подполковник Андрушкевич.

— Юзек! — взъярился генерал. — Чтоб тебя!.. Прекрати немедленно!

— Виноват.

— Итак! — сказал Голембовский. — Получен приказ остановить фронт на семьдесят два часа. Дать максимальный отдых всем подразделениям. Накопить силы перед решающим наступлением. Произвести реформировку там, где есть особенно большие потери личного состава. Принять пополнение. Перебросить танки вперед на исходные позиции для начала наступления. На время отдыха частей выставить боевое охранение. Обеспечить полное спокойствие этого участка... Из лагеря военнопленных освободить служащих союзных армий и немедленно связаться с их командованием. Особое внимание обратить на прием пополнения, идут двадцать шестой и двадцать седьмой годы рождения — восемнадцатилетние парнишки. Распихать их по второму и третьему подразделениям. Сберечь их любой ценой. Что сейчас самое главное? Что нужно сделать без проволочки? Вода! Свет! Пекарня!.. Начальник тыла, слышишь?

— Так точно, товарищ генерал.

— Что с медслужбой? — спросил Сергеев.

— Медсанбат уже разворачивается. Только... — неуверенно ответил советский начмед и замылся.

— В чем дело? — резко спросил полковник Сергеев.

— Там у нас десятка полтора раненых немцев оказалось...

— Ну и что? — удивился генерал Голембовский.



— Я вот думаю, что с ними делать...

— Вы их сначала вылечите, а потом мы придумаем, что с ними делать, — жестко сказал полковник Сергеев. — Ваша обязанность — лечить раненых.

— Слушаюсь.

— Да! — вспомнил генерал. — И связь! Постоянная связь с командующим Первой армией Войска Польского и штабом Белорусского фронта. Начальник связи! Понятно?

— Так точно!

— Шкуру спущу, если связь будет прервана хоть на полчаса, — пообещал генерал.

Начальник связи улыбнулся.

— Я тебе поулыбаюсь, — без тени юмора сказал генерал. — Замполит! Тебе слово. Давай, Юзек. Что там у тебя?

— Политотдел армии просит немедленно организовать временную администрацию на возвращенных Польше землях. Ожидается большой приток переселенцев из-за Буга... Все это должно в конечном итоге лечь на плечи военных комендантов городов и гарнизонов.

— У вас есть кандидатура на пост коменданта города? — спросил его полковник Сергеев.

— Так точно, — ответил Андрушкевич. — Капитан Станишевский.

— Товарищ полковник, это тот Станишевский, который сегодня руководил захватом немецкого эшелона, — подсказал Сергееву начальник разведки.

Генерал Голембовский повернулся к адъютанту:

— Вызвать немедленно. Давайте его сюда!

Адъютант рванулся к двери, а генерал сказал Сергееву:

— Он у меня еще под Рязанью на формировке был. Хороший парень...

— Да знаю я Станишевского...

— И вы, Петр Семенович, давайте своего... Пусть они вместе и управляют.

— Хорошо, мы подумаем, — ответил Сергеев генералу. — Чем порадует начальник разведки?

— По нашей линии радостей немного. Не исключены отдельные хорошо вооруженные группировки противника, застрявшие в наших тылах. Корпус войсковой безопасности Первой армии Войска Польского выделил нам два спецбатальона для контроля дорог. Именно эти три дня, когда наши войска станут на отдых, могут быть использованы противником для попыток прорыва. Это обязывает нас быть бдительными, как никогда... — с пафосом сказал начальник разведки.

В ту же секунду над головами у всех, на чердаке, что-то гроыхнуло, треснуло, покатилося со звоном, и в мгновенно наступившей тишине сверху явственно послышались чьи-то крадущиеся шаги.

Все испуганно посмотрели на потолок. Начальник разведки выхватил пистолет из кобуры и принял на себя командование:

— Всем отойти от окон. Встать у той стены!

— Ты только сам не трусь, — спокойно сказал Голембовский, но к стене отошел. — Возьми пару автоматчиков и проверь чердак. Кто там шляется?..

Начальник разведки рванулся к дверям, уже на лестнице раздался его резкий окрик, и сразу же по деревянным ступеням загрохотало несколько пар сапог. Почти одновременно с этим наверху послышалась какая то возня, чей-то сдавленный крик, ругань и снова топот сапог по лестнице.

Но если вверх по лестнице сапоги грохотали в тревожной спешке, то вниз они спускались с неторопливым, размеренным топотом. Уже по одному только лестничному скрипу под тяжелыми солдатскими сапогами можно было понять, что задание выполнено и враг обезврежен.

Дверь распахнулась, и на пороге игорного зала появился слегка растерянный начальник разведки польской дивизии. Через все лицо у него шла багровая царапина. За ним два дюжих автоматчика ввели какое-то дикое, нелепое существо: длинная немецкая офицерская шинель до пят, по уши напяленная на голову вывернутая солдатская пилотка, лицо замотано шарфом...

— Эт-то еще что за чучело?! — рявкнул Голембовский и побагровел от злости.

— Абориген этого заведения, — упавшим голосом доложил начальник разведки.

«Абориген» вдруг рванулся, резко выдернул рукав из могучей лапы польского автоматчика, длинная немецкая офицерская шинель распахнулась, и все увидели тоненькие ножки в черных перекрученных чулочках на цветных подвязках, коротенькую несвежую шелковую комбинацию и стоптанные туфли на высоких каблуках.

Существо сдернуло с головы солдатскую пилотку, и по плечам, по воротнику немецкой офицерской шинели рассыпались прекрасные длинные девичьи волосы. Физиономия у «аборигена» была грязная, опухшая от сна и шнапса, но веселая и симпатичная. Девчонке было лет восемнадцать.

Она внимательно оглядела польских и советских офицеров и удивленно присвистнула. Потом чихнула, рассмеялась и сказала на плохом немецком языке:

— Ох, черт подери!.. Кажется, я проспала что-то очень важное! У кого-нибудь найдется закурить?

Все ошеломленно молчали. Андрушкевич первым пришел в себя и спросил ее по-немецки:

— Ты кто?

— А ты что, не видишь?

— Вижу, — улыбнулся замполит.

— Господи! У вас у всех одно на уме, — со вздохом проговорила девица и гордо запахла шинель. — К тому, о чем ты подумал, я не имею никакого отношения. В этом кабаке я всего лишь танцевала.

— Юзек, прекрати забавляться и гони ее отсюда к чертовой матери! — по-польски приказал генерал.

— Юзек! Генералов надо слушаться, — по-польски произнесла девица. — Но прежде чем меня выгнать, хорошо бы меня накормить.

Начальник штаба советской дивизии тронул за рукав Андрушкевича и по-русски попросил его:

— Спросите, пожалуйста, откуда она, как ее зовут и что она делала там, наверху...

Тут же, не дав Андрушкевичу открыть рот, девица поведала на чудовищном русском языке, что зовут ее Элиза, но можно и просто — Лиза, что она чешка из Градец-Кралове, а там... Она показала пальцем на потолок. Там она всего лишь спала. И тут же поинтересовалась, хорошо ли она говорит по-русски.

— Просто замечательно... — процедил сквозь зубы полковник Сергеев и вопросительно посмотрел на генерала.

В полной растерянности Голембовский пожал плечами и тупо вонзил взгляд в расцарапанную физиономию несчастного начальника разведки дивизии.

Но в это время в проеме двери показался запыхавшийся Анджей Станишевский и доложил:

— Товарищ генерал! Капитан Станишевский по вашему приказанию прибыл!

Лиза тут же обернулась на голос Станишевского, увидела Анджея и восхищенно всплеснула руками, отчего ее длинная шинель снова распахнулась. Не отрывая глаз от Станишевского, Лиза в восторге сказала по-чешки:

— Боже мой! Какие потрясающие мальчики воюют с этой стороны!

Ничего не понимая, Станишевский уставился на полуголую Лизу.

Этого Голембовский уже не мог выдержать. Нервы у него сдали, и он закричал так, словно поднимал свою дивизию в решающую атаку:

— Накормить и выгнать немедленно!!!

Через оптический прицел было хорошо видно, как от города к большому немецкому фольварку по проселочной дороге катил велосипедист. Человек, неотрывно следящий за велосипедистом через окуляр прицела, был почти спокоен. Однако помимо его воли дыхание у него вдруг стало неглубоким, частым, и от попытки остановить его тело человека затрясла мелкая и противная дрожь. Но это продолжалось всего каких-нибудь секунд тридцать — сорок. Вот уже стали различимы детали одежды велосипедиста — вязаная шапочка на голове, крестьянская куртка из грубого шинельного сукна, грязные короткие сапоги. Вот в прицеле стало узнаваемым его лицо — обросшее, залитое потом, напряженное. Глаза настороженны, стараются не смотреть на приближающийся фольварк...

Когда же взмокшая, измученная физиономия парня в вязаной шапочке, который только недавно болтался во время молебна на Рыночной площади, целиком заполнила весь оптический прицел, у человека, державшего карабин в руках, выровнялось дыхание. Он поставил затвор на предохранитель и облегченно произнес по-немецки:

— Слава Богу! Я думал, он уже никогда не вернется.

В огромном подвале фольварка с низкого деревянного потолка свисали десятки копченых окороков. По стенам стояли аккуратные стеллажи с несметным количеством банок варенья, солений и прочими домашними заготовками хорошо налаженного богатого загородного дома.

На старом продавленном кожаном диване, внесенном в подвал, наверное, несколько лет тому назад, сейчас лежал пятидесятилетний командир специальной моторизованной дивизии СС Второй немецкой армии генерал Отто фон Мальдер.

С позавчерашнего дня у фон Мальдера не было никакой дивизии. Со вчерашнего дня не существовала на земле и вся Вторая армия. Последний сумасшедший бросок русских и поляков начисто ликвидировал мощную, казавшуюся незыблемой восточно-померанскую группировку немцев. Не помогли части, переброшенные на помощь Второй армии из Курляндии; куда-то исчезло подкрепление, которого так ждали из разных районов Германии, — личные резервы ставки...

Обе ноги фон Мальдера были искромсаны, — его бронированный «хорх» уходил от русских по своему минному коридору и подорвался, не пройдя и двухсот метров. Левую ступню фон Мальдеру срезало как бритвой. Вторая нога была буквально нафарширована осколками. Он потерял много крови. перевязки делались неопытными руками, причиняли массу страданий и, кажется, привели к сепсису.

Вместе с фон Мальдером в окружение попали пятьдесят три офицера его дивизии. Назвать это «окружением» было бы большой натяжкой. Скованная неподвижным, тяжело раненным генералом, потеряв какие-либо средства передвижения, группа просто-напросто не смогла вовремя выскочить за линию фронта и оказалась в тылу у поляков и русских. Она укрылась в доме одной состоятельной немецкой семьи, не успевшей (или не захотевшей) эвакуироваться. Глава дома — старый вояка Первой мировой войны — счел за честь принять под свою крышу фон Мальдера и всю его группу.

Среди пятидесяти трех офицеров дивизии были два сотрудника армейской спецслужбы. Однако в создавшейся ситуации командование группой принял на себя очень близкий фон Мальдеру человек — гауптман Герберт Квидде. Белокурый, с красивым, тонким, почти женским лицом, Герберт происходил из старопрусской образованной семьи и был беззаветно предан генералу. Когда-то, лет шесть тому назад, когда фон Мальдер еще служил во Франции, неподалеку от Парижа, в Фонтенбло, в штабе главного командования сухопутных сил германской оккупационной армии, он заметил в одном из отделов юного Герберта Квидде и предложил ему стать у него адъютантом. Квидде с восторгом согласился. С тех пор они не расставались.

— Нужно уходить в лес и ждать любой возможности прорыва. Уже сегодня к вечеру они начнут обшаривать все окрестные фольварки в поисках провианта и обязательно наткнутся на нас, — почтительно и твердо говорил обросший молодой парень в вязаной шапочке и куртке из грубого шинельного сукна — один из двоих сотрудников дивизионной спецслужбы.

— Спасибо, лейтенант... — с трудом проговорил генерал.

Он тяжело и прерывисто дышал. У него была высокая температура. Мундир расстегнут, мокрая рубашка голландского полотна прилипла к телу. Малейшее движение причиняло нестерпимую боль.

Вокруг него стояли человек тридцать офицеров — издерганных и измученных страхом людей. Остальные охраняли фольварк снаружи. У постели генерала сидел ласковый, спокойный и чисто выбритый Герберт Квидде. Он вытирал лицо генерала, мокрое от изнурительных болей, успокаивающе гладил ему руку и время от времени подносил ко рту фон Мальдера кружку с водой.

Лейтенант в вязаной шапочке снял грубую крестьянскую куртку. На спине у него оказался короткий «шмайсер». На брючном ремне висели две осколочные фанаты. Из кармана торчал «парабеллум».

— Герберт... — хрипло сказал генерал. — В этом городишке была вилла генерала фон Бризена, моего старого товарища. Он уже давно ушел в отставку и жил здесь почти безвыездно...

— Надеюсь, он успел эвакуироваться, — заметил Квидде и погладил руку генерала.

— Я тоже надеюсь... Но почему-то мне кажется, что его управляющий, господин Аксман... господин Зигфрид Аксман может быть еще здесь... Не связаться ли с ним? Это очень порядочный человек.

— Хорошо, господин генерал. Мы попытаемся сделать все. Пятьдесят три офицера войск СС — это серьезная ударная сила.

Квидде нежно склонился к генералу и негромко, но так, чтобы слышали все стоящие вокруг, сказал:

— Они получили три дня на отдых. Отдых расслабляет, успокаивает... Именно в эти три дня мы должны прорваться к своим.

— Да, да, мой мальчик... Конечно, конечно... Ты прав, — устало согласился генерал и прикрыл глаза.

И почему-то вспомнил Италию... Он влюбился в эту страну, в этот благословенный и солнечный край, в еще гимназические времена. Он зачитывался книгами Якоба Буркхардта, искусствоведческими статьями Зигфрида Лилиенталя, писавшего тогда под псевдонимом «Фриц Шталь». Сколько удивительного открыли ему «История папства» Ранке и «Путешествия по Италии» Гёте! И как это ему чертовски помогло, когда он впервые попал в Италию... И в то же время он увидел современный фашистский Рим, поставивший себе непосильную задачу — восстановить былую империю. Ему довелось наблюдать парады и митинги фашистов в Риме, Флоренции... Тогда, в его первый приезд в Италию — в 1927 году, он склонен был видеть в них лишь проявления известного пристрастия южан к театральным эффектам. Ему припомнилось, что в Сицилии его особенно раздражал безвкусный памятник Конрадину — последнему королю Сицилии из немецкой династии Гогенштауфенов. А гробница германского императора Фридриха Второго в Палермском соборе напоминала о трагической попытке сделать Сицилию центром могучей германо-итальянской империи...

... Сейчас, лежа на старом продавленном диване в холодном и полутемном подвале фольварка, добротного воздвигнутого на старопольской земле, он, Отто фон Мальдер, бывший командир бывшей моторизованной дивизии СС бывшей Второй немецкой армии, подумал о том, что и тоскливый памятник Конрадину в Сицилии и гробница Фридриха в Палермо — это символы краха Великой Германии, начавшегося несколько веков тому назад. Полный распад завершится, наверное, недель через семь-восемь.

— Господин генерал, — сказал лейтенант в вязаной шапочке, — я хотел бы добавить: они ждут приема пополнения.

— Пополнение пришло! К нам пришло пополнение!

— Где пополнение-то?

— А вона!.. В воротах стоит, войти пугается. Эй, зайчик, не бойся, мы бабешки добрые!..

Крепкие молоденькие девахи в белых халатах и косынках — санитарки и сестры медсанбата, побросав работу, высунулись в открытые окна второго этажа.

В проеме сорванных с петель ворот стоял юный солдатик в необмятой новенькой форме. Тонкая шея выглядывала из большого воротника гимнастерки, словно пестик из ступки. Из-за широких голенищ новых кирзовых сапог высывались концы неумело намотанных портянок. Командировочное предписание, продовольственный и вещевой аттестат, то есть все документы, необходимые «для прохождения дальнейшей службы», он держал в левой руке. Правая рука готова была козырять кому угодно по любому поводу.

Во дворе бывшей двухэтажной городской больнички стучал бензиновый движок с генератором — давал ток в одну из комнат. Оттуда час тому назад выбросили все барахло, вымыли пол карболкой, повесили большую лампу над жесткой каталкой и наспех сотворили помещение для срочных, неотложных операций.

По коридорам таскали койки, медицинское оборудование, переносили раненых, мыли окна. Медсанбат привычно осваивал новое местожительство.

У добротного каменного каретника с крепким навесом — несколько санбатовских автомобилей. Вместе с автомобилями под навесом стояла уже и бричка с деревянной бочкой для воды, а рядом с бричкой — меланхолично жующая коняга неопределенной масти. Под открытым капотом «доджа» возился шофер Васильевой — Мишка, одетый в гестаповский мундир вместо спецовки. Мишка был несусветно грязен, и из-под капота «доджа» время от времени доносился его недоуменный матерок. Что-то у него там не ладилось. А может быть, Мишка еще не совсем постиг американскую технику. Неподдалеку от него строчил на ножной швейной машинке пожилой санитар в очках. Ставил заплатки на простыни и наволочки. Легкораненые помогали санбатовским таскать разное барахло и необходимое оборудование.

Все были заняты, и обратиться новобранцу было не к кому. А на окна второго этажа, откуда его откровенно разглядывали девчонки в белых халатах, он просто боялся поднять глаза.

— Худенький-то какой, Господи... — слышалось оттуда.

— Как к нам, так обязательно какого-нибудь завалыщенького...

Вышла на крыльцо майор Васильева, стянула маску с лица и глубоко вдохнула холодный весенний воздух. Лицо ее было мокрым, усталым. Халат заляпан кровью, руки в резиновых перчатках. Оглядела потухшими глазами двор, суетню и обессиленно присела на ступеньки крыльца.

Из окна второго этажа раздался крик старшей операционной сестры, младшего лейтенанта медицинской службы Зинки Ивановой:

— Мишаня! Глуши движок! Кончили...

Мишка негромко матюкнулся, вылез из-под капота «доджа» и вразвалочку направился к движку, ветошью вытирая на ходу руки. Наклонился над движком, перекрыл краник бензоподачи и выключил зажигание. И во дворе наступила тишина.

— Степа! Невинный!.. — негромко позвала Васильева.

— Уже, уже, уже!..

В кургузов халатике огромный Невинный выскочил на крыльцо, держа в руках крышку от большого стерилизатора. Там были аккуратно разложены пинцет, папиросы, спички. Как на подносе, стояла роскошная чашка с кофе.

Не снимая резиновых перчаток, Васильева взяла пинцет, достала им из пачки папиросу. Невинный поставил крышку стерилизатора на верхнюю ступеньку крыльца, взял спички и дал Васильевой прикурить. Васильева с наслаждением затянулась.

Невинный осторожно приподнял чашку с кофе и протянул ее Васильевой, элегантно отставив в сторону свой толстенный мизинец. Это был давно сложившийся ритуал. Когда кофе не было, подавался крепчайшей заварки чай.

— Пальчик-то убери, — сказала Васильева. — Сколько тебе говорить можно?

Невинный испуганно поджал мизинец. Васильева взяла у него чашку, внимательно разглядела ее и отхлебнула кофе.

— Знатное пойло, Степочка. А где ты чашку такую раздобыл?

— Там же, где и кофе, Екатерина Сергеевна.

— От куркуль! — возмутился шофер Мишка и высунулся из-под капота «доджа». — Вы заметили, товарищ майор, он же никогда прямо не ответит!

— А тебе это вообще знать не положено, — огрызнулся Невинный. — Кофе трофейный — только для хирургов. Я, например, тебя не спрашиваю, откуда ты этот «додж» слямзил...

Мишка презрительно сплюнул и увидел новобранца в проеме ворот:

— Ну, чего стоишь? Иди докладывайся товарищу майору.

Печатая шаг, новобранец подошел к Невинному:

— Товарищ майор, рядовой...

Мишка оскорбительно захохотал. Новобранец смешался и замолчал. Невинный зыркнул на Мишку недобрый глазом, указал новобранцу на Васильеву и сказал:

— Она где товарищ майор. Я покаместь старшина.

Солдатик недоверчиво уставился на Васильеву, сидящую на ступеньках крыльца.

— Товарищ майор... Рядовой Кошечкин прибыл для дальнейшего прохождения службы, — уныло доложил новобранец.

Васильева затянулась папироской, оглядела солдатика с головы до ног.

— Ко-шеч-кин... — произнесла она отдельно и впервые улыбнулась. — А зовут как?

— Владимир Николаевич.

— Носом не вырос, — усмехнулась Васильева. — Ну какой ты Владимир Николаевич? Ты еще — Вовик... Вова. Владимиром Николаевичем ты уже после войны станешь. А пока — в распоряжение старшины Невинного. Он тебя и на довольствие поставит, и к делу пристроит. Понял?

— Так точно...

В окне второго этажа шел «свой» разговор:

— Хоть бы одного толкового мужика прислали!

— А по мне, так ничего. — Старшая сестра Зинка оценивающе разглядывала молоденького Вову Кошечкина. — Его малость подкормить — с ним еще и жить можно.

— Такого учить — руки отвалятся.

— Только время переводить.

— Кому что, девоньки. — И Зинка закричала вниз: — Екатерина Сергеевна! Того фрица с раздробленным локтевым суставом готовить к ампутации?

— Готовь! — Васильева отхлебнула из чашки.

— Наркоз местный, общий? — вопила Зинка со второго этажа.

— Местный, местный! У него сердечко паршивое, — ответила Васильева. — А ты, Вовик, отдай все свои бумажечки старшине Невинному, Степану Андреевичу. И давай включайся...

— Куда? — тупо спросил Кошечкин.

— В общественно полезную деятельность нашего здорового и замечательного коллектива. Чему тебя в школе учили? Забирай его, Степа.

— Пошли, Котечкин, — строго произнес Невинный.

— Кошечкин... — упавшим голосом поправил его новобранец.

— Ну Кошечкин, — согласился Невинный. — Айда...

Но тот стоял и не двигался.

— Ты чего? — спросила Васильева. — Иди со старшиной.

— А где мне оружие получить, товарищ майор? — вдруг напряженно спросил Кошечкин.

— Какое оружие?!

— Ну... Воевать.

— А-а-а... — поняла Васильева. — Иди. Без тебя обойдутся.

— То есть как?! — тоненько выкрикнул Вова Кошечкин и чуть не заплакал. — Товарищ майор! Я же воевать прибыл!.. Я же...

— Ты мне тут истерики не закатывай, — резко проговорила Васильева. — Марш отсюда! Кру-гом!

И в эту секунду во двор санитарного батальона на полном ходу влетел «виллис» с белым польским орлом на боку. Из него выпрыгнул капитан Станишевский и бросился к Васильевой:

— Катя! Екатерина Сергеевна! Товарищ майор!..

— Станишевский! — Васильева допила кофе и отбросила в сторону окурков. — Живой?!

Станишевский даже не дал Васильевой подняться со ступенек. Он опустился перед ней на колени и стал целовать ее руки в резиновых хирургических перчатках. Она рассмеялась и прижала его голову к своей груди.

— Ендрусь!.. Живой... — Васильева счастливо и удивленно покачала головой: — Вот уж не чаяла.

Мишка наглухо застегнул свой гестаповский голубой мундир и деловито полез под капот «доджа». Пожилой солдат остервенело застрочил на швейной машинке. Сестры и санитарки медленно и неохотно отлипли от подоконников второго этажа. Шофер Станишевского с преувеличенной тщательностью стал протирать лобовое стекло своего «виллиса». Старшина Невинный осторожно дернул новобранца за рукав.

Ошеломленный Кошечкин этого даже не почувствовал. Он стоял и не мог оторвать глаз от Васильевой и Станишевского. То, что сейчас происходило, казалось ему невероятным! При всех!.. С иностранцем! Они с ума сошли, что ли?! Она же майор! Вот это да!..

Васильева подняла руками голову Станишевского, ласково заглянула ему в лицо.

— Как же я давно не видела тебя, кавалер ты мой верный, Андриюшенька...

Посмотрела вверх его головы на потрясенного Кошечкина и, не меняя интонации, нежно произнесла:

— Вовик... Ну что ты стоишь, как памятник? Я же сказала тебе — иди со старшиной Невинным. Иди, иди.

— А оружие?.. — еще на что-то надеясь, потерянно прошептал Кошечкин.

Но этого Васильева уже не слышала.

Лагерь для военнопленных американцев, англичан, французов, а в последнее время и для итальянцев находился почти в самом городке. Вернее, на выезде из него.

Четыре длинных одноэтажных барака, несколько небольших корпусов различных служб, двухэтажное кирпичное здание — казарма немецкого батальона лагерной охраны — и внушительный, вытопанный до бетонной жесткости плац для построений. Весь этот «комплекс» был окружен тремя рядами колючей проволоки, а по всему периметру забора, на шести углах, стояло шесть наблюдательных вышек с прожекторами. Помимо прожекторов, на вышках были сооружены небольшие огороженные площадочки под маленькими четырехугольными крышами, под которыми от дождя и ветра спасались часовые, охранявшие лагерь. С земли к этим площадочкам шли аккуратные лестницы с перилами. Все шесть вышек соединялись телефонной связью с караульным помещением и службой коменданта лагеря.

Сейчас вышки пустовали, колючая проволока была в нескольких местах порвана и смята — здесь добротнo поработали польские и советские танки. В одном месте, словно гигантская муха, запутавшаяся в паутине, в клубке колючей проволоки застрял полусгоревший немецкий штабной автомобиль. Из него неподвижно свисали чьи-то руки, головы, ноги... Видимо, в последнюю секунду машина с немцами предприняла отчаянную попытку прорваться с ходу, но одолеть собственный забор ей так и не удалось.

Это был так называемый офлаг — офицерский лагерь. Бараки строго разграничены: в одном жили американцы, во втором — англичане, в третьем — французы, а четвертый с недавнего времени, как только Италия вышла из войны, заполняли итальянцы. Перестав быть союзниками немцев, они тотчас были объявлены врагами Германии. В лагерях им жилось труднее, чем всем остальным, так как если американцы, французы и англичане были спаяны союзническими отношениями, то итальянцы — недавние противники тех же американцев — в эту категорию никак не вписывались. Однако следует заметить, что по сравнению с лагерями для пленных русских даже итальянцы жили словно в раю...

В офлаге каждый барак имел свой выборный комитет самоуправления, который напрямую связывался с немецким командованием лагеря. Через своих представителей пленные могли жаловаться администрации лагеря на недоброкачество пищи, на нарушение санитарных условий, на несоблюдение международных правил содержания военнопленных. Все это достаточно мирно обсуждалось лагерным начальством вместе с представителями комитетов военнопленных, и большая часть требований удовлетворялась. Это делалось с точным расчетом на возможный неблагоприятный для них конец войны...

Но все-таки это была тюрьма, где попытка к бегству каралась смертью.

... О том, что русские и поляки будут торжественно освобождать военнопленных союзников, городок узнал моментально. Когда командование советской и польской дивизий вместе с переводчиками прибыло к лагерю, вокруг него собрались уже несколько сотен местных жителей и, пожалуй, столько же советских и польских солдат. Казалось, вся Рыночная площадь перекочевала сюда, чтобы продолжить праздник. Это впечатление подкрепляло еще и то обстоятельство, что уличный оркестрик — гитара, барабан, аккордеон, труба и кларнет — тоже оказался здесь и трудился в поте лица своего, громко, но не очень стройно наяривая старые польские мелодии...

Местные мальчишки перекрикивались с пленными американцами, итальянцами, французами и англичанами через проволоку. Многие из них уже давно знали друг друга по разным мелким коммерческим операциям.

Отделение саперов лихорадочно забивало последние гвозди в наспех сооруженную трибуну. Пленные с гамом и хохотом строились в колонны по барачно-национальному признаку. Старшие офицеры из числа военнопленных сорвали глотки, уговаривая своих возбужденных солагерников уgomониться.

Шум и гогот в колоннах прекратился сам собой, как только командование советской и польской дивизий стало подниматься на трибуну.

- Не рухнем? — спросил полковник Сергеев у командира отделения саперов, строивших трибуну.
- Что вы, товарищ полковник! Куды оно денется? Хоть роту грузите.
- Ну смотри. А то стыда не оберемся.
- Никак нет, товарищ полковник. Все будет в лучшем виде.

Вместе с командованием на трибуну поднялись три переводчика: щеголеватый подпоручник из штаба Первой армии, знавший английский язык, младший лейтенант Красной Армии, очень хорошенькая девушка, переводчица с польского и французского, и старик из местных — бывший управляющий имением какого-то отставного немецкого генерала. Он должен был переводить на итальянский.

Внизу у трибуны пристроились два журналиста из фронтовой газеты и один фотокорреспондент — небольшого роста, живой, смуглый человек в польской военной форме без знаков различия.

Уже когда все стояли на трибуне и генерал Голембовский, подняв глаза к небу, пытался повторить в уме то, что ему предстояло сейчас сказать вслух, к лагерю подлетел «виллис» Станишевского. Анджей выпрыгнул из машины и продрался сквозь толпу к трибуне, прилагая все усилия к тому, чтобы никто не заметил его опоздания. Никто и не заметил. Кроме замполита Юзефа Андрушкевича, который погрозил ему кулаком и жестом приказал подняться на трибуну. Анджей поднялся и спросил шепотом:

- Разрешите присутствовать?
- Ты где был? — грозно прошипел Андрушкевич.

Можно было соврать что угодно. В любом другом случае Станишевский мгновенно что-нибудь выдумал бы. В сегодняшних условиях любой треп выглядел бы абсолютно достоверно и оправдаться за опоздание не представляло никакого труда. Но Станишевского буквально распирало от радости встречи с Катей Васильевой, и он сказал просто:

- У женщины, товарищ подполковник.

Замполит дивизии был старше Станишевского всего на один год. Он был красив, силен и сам с нескрываемым удовольствием пользовался успехом у лучшей половины человечества. В глазах Андрушкевича на мгновение мелькнула зависть, сменившаяся истинно мужским уважением.

- У кого был? Рассказывай.

Станишевский счастливо расплылся:

- Я был у женщины, в которую влюблен уже полтора года. Нет! Больше!.. Почти два. И безуспешно.

— Чему же ты радуешься? — потеряв к истории всякий интерес, презрительно спросил замполит.

— Тому, что встретил ее.

Но тут генерал Голембовский собрался с духом, откашлялся и зычно закричал с трибуны, обращаясь к четырем замершим колоннам — американской, французской, английской и итальянской:

— Дорогие друзья! Союзники! Мы — представители Первой армии Войска Польского и советских войск Белорусского фронта... — Генерал прервал сам себя и приказал переводчикам: — Переведите.

Три переводчика одновременно закричали на весь плац по-английски, по-французски и по-итальянски. Три языка смешались в кучу малу, и гражданским полякам, пришедшим к лагерю на праздник освобождения, это показалось смешным. Толпа рассмеялась.

Но колонны союзников стояли не шелохнувшись, и никто из них не поддержал веселья толпы. Каждый внимательно вслушивался в слова, обращенные лично к нему, боясь что-либо пропустить или чего-нибудь не расслышать. И толпа прекратила смеяться...

— Мы счастливы приветствовать ваше освобождение из плена! — крикнул Голембовский. — Мы знаем, как храбро сражались солдаты Соединенных Штатов Америки, нам известно мужество британских вооруженных сил, мы никогда не забудем отважных французских патриотов... Мы приветствуем итальянские войска, вышедшие из войны!

Когда переводчики перевели все, что прокричал Голембовский, все четыре колонны приветственно завопили, а толпа из местных жителей, русских и польских солдат восторженно закричала, зааплодировала.

Наконец Голембовский смог продолжить речь:

— Считаю своей обязанностью сообщить вам, что как только мы закончим переформировку наших частей, транспортные средства ваших войск получат возможность прибыть за вами сюда. От имени советского и польского командования я обещаю вам, что в течение ближайшей недели вы все будете отправлены к местам расположения ваших войск!..

Снова на трех языках закричали переводчики, снова завопили бывшие военнопленные. Маленький оркестрик заполнял паузы в речи генерала — играл разные мелодии, от «Марсельезы» до «Типперери». Смуглый человечек в польской форме, обвешанный фотоаппаратами, щелкал своими камерами всех подряд — и союзников, и начальство, и оркестрик, и городской народ. Мальчишки совсем спятили: пробрались на территорию лагеря, облепили трибуну, шныряли по колоннам союзников, выпясывали перед объективом фотографа...

Но тут произошло неожиданное: толпа перед лагерем вдруг стала затихать и медленно раздвигаться на две половины, образуя живой коридор, ведущий прямо к воротам лагеря. По этому «коридору» боком вытанцовывал роскошный белый жеребец, на котором горделиво восседал старший лейтенант Валера Зайцев.

Сразу же за хвостом Валеркиного жеребца шел пленный немецкий полковник с моноклем в глазу. За полковником, не глядя по сторонам, следовали двенадцать немецких офицеров. За офицерами медленно двигалась колонна «тотальников» из утреннего эшелона. Они шли, низко опустив головы. Пленных немцев сопровождал советский конвой на лошадях.

Маленький фотограф тут же перевел свой объектив на немцев и, конечно, на Валерку Зайцева. Валерка вел себя достойно: старался не смотреть в аппарат и вообще изображал на лице некоторую скуку, дескать, работа привычная, будничная, чуть ли не каждый день города берем... Однако внутри его распирало от тщеславия. Он сам придумал весь этот спектакль — привести пленных немцев в лагерь именно в момент освобождения союзников из этого лагеря. Час тому назад он посвятил в свой замысел Анджея Станишевского, горячо доказывая ему, как коменданту города, всю важность такого «политического момента», всю грандиозность «символического обобщения», всю необходимость этого замечательного «агитационно-пропагандистского»... И так далее и так далее...

Станишевский слушал его вполуха, так как к моменту возникновения этой глобальной идеи в голове Зайцева он, Станишевский, уже знал, где расположился советский медсанбат, и ни во что не желал вникать, торопился только туда. Поэтому он, как комендант города, послал Зайцева ко всем чертям и тем самым предоставил ему свободу действий.

Теперь общее внимание было приковано только к немцам.

На них смотрели все: освобожденные союзники, ошарашенное командование двух дивизий, замершая толпа местных жителей и суровые ребята — русские и польские солдаты, которым испортили праздник. Немцы шли в гнетущей тишине, только нервно всхрапывал белый жеребец под Валеркой Зайцевым.

Все это так неожиданно, можно сказать, злостно нарушало торжественность долгожданной акции — освобождения союзников, что полковник Сергеев прямо-таки зашелся от злости!

— Зайцев! — гаркнул он. — Ты что здесь цирк устроил?! Ты куда их ведешь?

Зайцев придержал коня, вытянулся в седле:

— В плен, товарищ полковник! В этот же лагерь.

— Кто разрешил?!

Нужно было срочно спасать Валерку от гнева командира дивизии, и Анджей Станишевский быстро сказал:

— Виноват, товарищ полковник... Это я приказал Зайцеву занять барак под немцев. Англичан и американцев пока переселить до отправки в один барак. Вы видите, их там немного. Поместятся...

Голембовский переглянулся с Сергеевым и спросил у Станишевского:

— Этот Зайцев был с тобой утром на вокзале?

— Так точно.

— Он немецкого полковника взял?

Анджей улыбнулся, ответил немедленно:

— Так точно. Он.

Антракт затягивался. Сотни людей из семи государств стояли и ждали следующего действия. Но сейчас генералу Голембовскому было на это наплевать. Подождут. Теперь-то ждать просто.

Выручил всех Юзеф Андрушкевич — замполит польской дивизии. Он решил, что лучший способ отвести кары небесные от повинной головы Валерки Зайцева — это внести какое угодно контрпредложение, уводящее историю в совершенно другую сторону. Он и сказал Сергееву:

— А что, Петр Семенович, может, комендантом с советской стороны назначить этого красавца? — Он показал на Зайцева и незаметно толкнул коленом генерала Голембовского.

— Правильно! — тут же сказал генерал. — Раз уж они сегодня вместе на вокзале работали, пусть и дальше идут плечом к плечу...

По инерции генерала все еще тянуло на высокопарность стиля.

Сергеев недобро посмотрел на Зайцева:

— Слезай с коня! Наездник... Пойдешь помощником к капитану Станишевскому.

— Слушаюсь! — Валера прыгнул с белого жеребца и протяжно крикнул: — Старший сержант Светличный! Принять конвой!..

Из хвоста колонны подскакал на каурой кобылке молодцеватый Светличный, подхватил под уздцы белого жеребца.

— Есть принять конвой! — И скомандовал немцам: — Форвертс! Трогай!..

Генерал Отто фон Мальдер был уже перенесен из подвала наверх и лежал теперь на носилках в самой большой комнате хозяйского дома, увешанной безвкусными выцветшими литографиями.

Боли не прекращались ни на секунду. Они то затихали, становились почти привычными, и тогда фон Мальдер получал возможность понимать и оценивать происходящее вокруг, говорить, отвечать. То вдруг следовал такой болевой всплеск, который начисто лишал его рассудка, слуха, речи, воли... Нет, нет! Пожалуй, только воля и оставалась. Иначе все окружавшие Отто фон Мальдера должны были бы услышать дикий, животный крик отчаяния и полной безысходности. Но он молчал. Молча терял сознание, а когда болевой взрыв оседал, так же молча приходил в себя. У него почти не спадала температура, не утихала жажда. Дыхание было поверхностным и частым. Гауптман Квидде не отходил от него ни на минуту.

Сейчас Квидде сидел на корточках у самых носилок, держал в своих руках сухую горячую руку генерала и смотрел снизу вверх на хозяина дома и его семью.

— У меня просто не хватает слов, чтобы выразить нашу признательность за все, что вы для нас сделали, дорогой герр Циглер, — говорил он.

Перед ним стояли хозяйин фольварка, его испуганная жена, его мать, древняя, глухая, неопрятная старуха, и дочь, некрасивая перезрелая девица, страдающая насморком.

Они стояли у стены, на фоне большой фотографии сына хозяйки, похожего на сестру своей невыразительностью и бесцветностью. Сын герра Циглера был в форме обер-лейтенанта немецкой армии.

У дверей замерли в молчании два сотрудника абвера — лейтенант в вязаной шапочке и куртке из грубого шинельного сукна и мрачноватый верзила в русском ватнике, с Железным крестом на шее. За спиной у верзилы, словно у охотника — стволом вниз, висела снайперская винтовка с оптическим прицелом. На груди — «шмайсер».

В открытые настежь двери было видно, как обросшие, обтрепанные офицеры фон Мальдера выносили оружие, боеприпасы, мешки с продовольствием. Слышались негромкие команды, короткие приказания — отряд спешно готовился к уходу в лес. Не было никакой суеты, беспорядочности, метаний. Все предельно четко, организовано. Чувствовались профессионализм и добротная выучка кадровых военных, которые в тревожной и опасной ситуации без тени сомнения пойдут на все.

— Мы не имеем права подвергать опасности ни вас, ни вашу семью, ни господина генерала, — сказал Квидде. — Позвольте еще раз поблагодарить вас за приют и добрый совет — я имею в виду лесной бункер, который вы нам показали...

На глаза герра Циглера навернулись слезы.

— Это был наш долг, — сказал он и обвел рукой всю свою семью, включая и портрет сына на стене.

Жена и дочь Циглера поспешно закивали головами в знак полного согласия. Старуха ничего не услышала и не поняла, кроме того, что нужно с чем-то немедленно согласиться. Она затрясла своей сухонькой головкой, внимательно глядя на сына — правильно ли она поступает.

Генерал превозмог боль и дурноту, приподнялся на локте и даже попытался улыбнуться Циглеру:



— Если я останусь жив, Пауль, я этого никогда не забуду...

— Я буду счастлив увидеть вас снова живым и здоровым, господин генерал, — поклонился Циглер.

Один за другим офицеры неслышно выскальзывали из дому. Во дворе зарычала и залаяла собака. Циглер виновато сказал:

— Она привязана.

— Ничего страшного, — ласково успокоил его Квидде. — Собака ведь может лаять по любому поводу, не правда ли?..

Он посмотрел на верзилу со снайперской винтовкой и наклонил голову. Тот сделал знак четверым офицерам, стоявшим за дверьми. Они тут же вошли в комнату и встали у носилок с генералом. Квидде встал в полный рост.

— Прощайте, Пауль, — сказал генерал. — И да хранит вас Бог.

— Мы будем ждать вас... Мы надеемся... — Голос Циглера дрогнул, и он бросил взгляд на фотографию сына. — Если когда-нибудь вы увидите нашего мальчика...

— Я обещаю вам, Пауль... — Генерал обессиленно откинул голову на носилки. — Герберт, вы записали номер части обер-лейтенанта?

— Конечно, конечно, — улыбнулся капитан Квидде.

Он дал знак четверым офицерам поднять носилки. Лейтенант в вязаной шапочке и верзила в русском ватнике неотрывно смотрели на Герберта Квидде.

— Вперед, — скомандовал Квидде офицерам, и те осторожно понесли генерала к дверям.

Сам Квидде, лейтенант в шапочке и верзила в ватнике на секунду задержались...

Немцы бесшумно скользили в редком перелеске. Лес был уже совсем близко, а там, в его спасительной сумрачной и сырой глубине, находился мало кому известный огромный заброшенный каменный бункер, построенный еще во время Первой мировой войны. В нем свободно могли разместиться несколько десятков человек. Герр Циглер сам проводил капитана Квидде утром к этому бункеру и показал наиболее безопасную к нему дорогу.

Генерала несли осторожно, пригибаясь, стараясь двигаться плавно, неслышно. Повинуясь только знакам, беззвучно менялись четверками на ходу. Освобожденные от носилок разминали натруженные, скрюченные кисти рук, занимали свое место в охране, положив горячие стертые ладони на приклады автоматов. И все без единой остановки, без малейшей задержки.

— Где Квидде? — обеспокоенно спросил генерал и беспомощно оглянулся, но ничего не увидел, кроме голого, мелькавшего мимо него кустарника.

— Не волнуйтесь, господин генерал... Он сейчас догонит нас... — срывающимся от усталости голосом ответил кто-то.

Спустя несколько минут откуда-то со стороны к носилкам с генералом бесшумно пристроились гауптман, лейтенант в вязаной шапочке и молчаливый верзила.

— Герберт... Мой дорогой... Почему же ты отстал? Уж не загляделся ли ты на дочку хозяина? — спросил Отто фон Мальдер.

Квидде на ходу наклонился, почтительно поцеловал руку генерала и тихо произнес:

— Вы же знаете, что я не заглядываюсь на женщин.

Фон Мальдер ласково улыбнулся и погладил белокурого гауптмана по лицу. В такт шагам над ним колыхались серые, низкие, чужие облака. Они медленно уплывали назад, уступая место еще более серым, низким и плотным, без единого просвета, без малейшего клочка небесной голубизны... Он вспомнил яркую, теплую синь итальянского неба и закрыл глаза. Ему причудилась Венеция, покачивающаяся гондола, нежная россыпь мандолины и почему-то еле слышный собачий лай...

Во дворе фольварка герра Циглера огромный пес захлебывался злобным хриплым лаем. Он был привязан коротким сыромятным ремнем к небольшому колесному трактору и рвался как безумный. В ярости он грыз ремень, становился на задние лапы, крутил головой, хрипел в ошейнике, передними лапами старался стащить ошейник через голову и снова начинал грызть сыромятину.

Наконец ремень не выдержал и лопнул. Гигантскими прыжками собака помчалась к хозяйскому дому. У самых дверей она словно наткнулась на невидимую преграду. Шерсть на загривке у нее встала дыбом, она попятилась, и злобное рычание неожиданно перешло в жалобный, испуганный щенячий визг.

Из-под тяжелых дубовых дверей на каменные ступени медленно растекалась кровавая лужа. Пес заскулил, закрутился, стараясь не ступить в эту лужу, а затем уперся передними лапами в тяжелую дверь и распахнул ее, как делал это, наверное, сотни раз.

По проселочной дороге катился открытый трофейный «опель-адмирал». В нем рядом с шофером сидел командир танкового полка майор Мечислав Шарейко. Он был в комбинезоне и шлемофоне — только что пересел из головного танка в свою машину. Между ног у него стояла обычная танковая рация двусторонней связи с длинной антенной.

За ним шли его танки на исходные позиции для будущего наступления. Дел у Шарейко было до черта — нужно вывести танки на исходные, рассредоточить их, закамуфлировать, обеспечить личный состав

питанием, ночлегом... Да мало ли дел у командира танкового полка, которому еще смерть как хочется вернуться в город хотя бы к вечеру!

По обочинам дороги тянулись повозки с переселенцами и беженцами. Плакали дети, кричали женщины, переругивались хозяева повозок. Шли по дороге оборванные югославы, болгары, венгры. Брела из концлагеря стайка еврейских женщин, закутанных в какие-то невообразимые лохмотья...

Шел русский солдат из плена. Тощий, землистый, с седой клочковатой щетиной на впалых щеках. Не было у него ничего, кроме старой расхристанной шинели без хлястика и погон на плечах, а в руке — скрипка без смычка. Шел солдат и с каменным лицом тренькал на скрипке, словно на балалайке: «Ах ты сукин сын, камаринский мужик...» В застывших блеклых глазах — тоска смертная. Хоть и выжил, хоть и музыка есть, хоть и к своим возвращается. Что-то теперь будет?..

Рядом с ним медленно, стараясь не обогнать, ехал на велосипеде трубочист из лужицких сербов. Был он в черном цилиндре, в черных штанах и старом черном курцфраке. И со всеми своими профессиональными инструментами — метелкой, гирей на длинной веревке, ковшом для выгребания сажи на складной ручке... Все пытался втолковать русскому солдатику, что он не немец, а серб. Но «лужицкий». Они тут уже лет триста живут, в районе Одры и Шпрее. Дескать, тоже славянин и очень хорошо понимает...

Но солдатик молчал, все только вперед смотрел пустыми исплаканными глазами. И шел. «Ах ты сукин сын, камаринский мужик...» Что же теперь с тобой будет?..

Но и скрип повозок, и плач детей, и ругань, и песни, и болтовня лужицкого серба — все тонуло в могучем танковом грохоте. Сквозь него были только слышны время от времени далекие орудийные раскаты. Там, впереди, война не затихала ни на минуту.

Внезапно зазуммерила танковая рация, стоявшая между ног майора Шарейко в «опеле». Майор щелкнул тумблером «на прием» и услышал, что его вызывает командир экипажа «Варшава-девять». Выяснилось, что у «девятки» клинит левый фрикцион и он просит разрешения на ремонт. От «технички» экипаж отказался, уверяя майора в прекрасном знании доверенной им материальной части. Шарейко разрешил им выйти из колонны и остановиться на ремонт, приказав управиться как можно скорее.

— Вас понял — ремонт разрешен! — Командир танка отключил связь и спросил своего механика-водителя: — Яцек, к лесочку сможешь доползти? Чтобы от глаз подальше?.. Там вон я вижу ручеек какой-то. Потом помоемся. Дотянем?

— Попробуем, командир.

Танк «Варшава-девять» стал с трудом уходить с дороги к ложбинке у самого леса, в котором совсем недавно скрылась группа генерала фон Мальдера.

Какая это все-таки прекрасная штука — система оптических линз! Достаточно совместить объект убийства с перекрестием прицела и плавно нажать спуск. Вот этот командир польского танка с номером «девять» и белым орлом на башне, торчащий по пояс из верхнего люка, — чем не превосходная мишень? А он об этом не знает. Чему-то смеется, что-то кричит в люк своему экипажу. Да по нему просто невозможно промахнуться. Тем более что танк подходит все ближе и ближе...

Но танк вдруг остановился возле ручья и выключил двигатель, не дойдя до леса метров семьдесят. Гауптман Герберт Квидде спокойно сказал:

— Вот видите? Я же говорил, что он сюда не пойдет. У него, кажется, клинит левый фрикцион...

С несколькими офицерами он стоял за деревьями. Каждый держал в руках по фаустпатрону. Если бы танк решил войти в лес — гибель его была бы неминуемой.

— И никакого шума, — улыбнулся Квидде и передал верзиле фаустпатрон, взяв у него из рук снайперскую винтовку. — Дай-ка я посмотрю на него.

Он прицелился в командира танка, и снова лицо молодого поляка заполнило сетку прицела. Тот стащил с головы шлемофон, и Квидде явственно увидел мокрый от пота лоб и прилипшие к нему белесые волосы. Упираясь руками в края люка, командир танка вылез наверх, встал во весь рост, сладостно потянулся, разминая затекшее тело, и счастливо рассмеялся.

— Очень недурен... — пробормотал Квидде, не отрывая глаз от окуляра прицела. — Почти похож на человека...

Когда причины заедания левого фрикциона были выяснены, неисправности устранены и ремонт закончен, весь экипаж, включая командира, был грязен до неузнаваемости.

Для первого, «грубого» этапа омовения механик-водитель нацедил из дополнительного бака ведро солянки, и, прежде чем перейти к заключительной части туалета у ручья с нормальным мылом, все четверо оттирались соляровым маслом.

Первым закончил плескаться в солярке башенный стрелок. Он выпрямился, тщательно вытер руки ветошью и стал расстегивать комбинезон, чтобы водой вымыться до пояса. Он уже стянул комбинезон с плеч, завязал его на поясе рукавами и взялся стаскивать с себя мундир и нижнюю рубашку. Но тут же застыл, упервшись взглядом в небольшую возвышенность...

Все трое немедленно разогнулись. Башенный стрелок в полном оцепенении показывал глазами на бугор, откуда по пологому кособогу спускалась лядащая лошададка, запряженная в обычный крестьянский однолемешный плуг.

Лошаденку тащили под уздцы две маленькие оборванные девчонки лет десяти. На рукоятки плуга, стараясь загнать лемех поглубже в землю, налегала рано состарившаяся женщина. Медленно и неровно ложилась вспаханная полоса, — ни у девчонок, ни у женщины, ни у лошади попросту не хватало сил. Да и поле было тяжелым для пахоты — приходилось гнать искореженную военную технику: увязшую в весенней грязи противотанковую пушку, сгоревший грузовик, разбившийся советский самолет со звездой на хвосте. Но девочки упрямо тащили лошадь вперед. Она оскальзывалась в непросохшей земле, и женщина из последних сил вдавливала плуг в эту искаленную землю всем своим измученным телом...

Уже давно танки майора Мечислава Шарейко стояли на исходных. Они развернулись во фронт, и каждый экипаж маскировал свои машины. Уже дымила полевая кухня, и над позицией витал фантастический запах вареного окорока с пережаренным луком. Уже давно майор Шарейко мог оставить полк на своего заместителя, вернуться в город и начать нормальную личную жизнь часов до пяти утра как минимум. Если бы не эта проклятая «девятка»! Мало того, что она не пришла на пункт сбора вовремя, она не отвечала на позывные. Это особенно пугало майора. Мало ли что могло случиться!

Майор обеспокоенно посмотрел на часы и приказал своему водителю:

— А ну, разворачивай телегу!

«Опель-адмирал» развернулся и помчался к проселочной дороге. Все, все могло произойти... Подорвались на mine и сгорели, наткнулись на засаду бродячей группировки и погибли. Пока ремонтировались, их, как цыплят, могли перещелкать. Больше всего майора нервировало то, что молчала рация «девятки». Шарейко пожалел, что не взял с собой еще одну «тридцатьчетверку» с каким-нибудь опытным экипажем, и на всякий случай передвинул поближе к себе ручной пулемет, который валялся на заднем сиденье «опеля».

«Девятка» же молчала только лишь потому, что, кроме механика-водителя, в танке никого и не было. Некому было ответить на позывные командира полка. Тем более что механик-водитель отдал свой шлемофон маленькой девчонке. Она напялила его себе на голову и сейчас сидела на танке, свесив ноги по обе стороны пушки.

Вторая девчонка вместе с грязным стрелком-радистом гарцевала на распряженной кляче и визжала от счастья. Женщина устало сидела на разостланном оружейном брезентовом чехле и ела американскую тушенку солдатской ложкой прямо из банки.

Медленно двигался по полю починенный танк с цифрой «девять» на башне. Он осторожно волочил на постромках за собой плуг. Его вжимал в землю мокрый от напряжения командир экипажа. Заряжающий бежал перед танком спиной к движению и кричал механику в открытый люк:

— Ну куда ты дергаешь, дубина?! Не газуй! Иди ровнее!..

Потом перебежал назад к змыленному командиру и умолял его плачущим голосом:

— Ну, командир! Ну кто так пашет? Дайте мне, командир!.. Вы же слишком глубоко лемех засаживаете — он у вас и выпрыгивает! Не умеете — не беритесь! А я — крестьянин, я знаю как... А вы городской... Зачем вам это?!

— Пошел к такой-то матери... — Хрипел командир, намертво вцепившись в рукоятки плуга.

Танк тихонько урчал двигателем, медленно полз по омертвевшему военному полю, и за плугом, в руках неумелого горожанина, ложилась одна борозда за другой...

Со стороны дороги показался «опель-адмирал» и покатился прямо по полю к пашущему танку. То, что увидел майор Шарейко, оскорбило его до глубины души. Он, командир танкового полка, один, с ручным пулеметом, мчался на выручку своему экипажу... Он еще по дороге навывдумывал себе горящий танк с разорванными гусеницами, со сметенной башней... Он уже представил себе обгоревшие, окровавленные тела четырех несчастных пареньков. А увидел четырех абсолютно здоровых идиотов, которые занимались черт знает чем!..

На полном ходу Шарейко встал в своем «опеле» в полный рост и закричал страшным голосом:

— Ну я вам сейчас дам под хвост!

Польско-советская комендатура разместилась в одноэтажном здании бывшей немецкой комендатуры. Лучшего в этом городке придумать было невозможно.

— Аккуратные сволочи... — завистливо проговорил Зайцев при первом посещении этого дома. — Всё предусмотрели! Нам бы так... Нам бы цены не было! Это если по справедливости.

Четверо солдат на двух стремянках сдирали со стены комендатуры немецкую надпись и водружали польскую. Водитель советского «студебекера» уже лаялся с водителем польского «студебекера» из-за места под навесом, куда могла встать только одна машина. У дверей комендатуры ощерился пулеметом броневый автомобиль БА-64. Валерка Зайцев выпросил его у помпотеха своей дивизии подполковника Хачикияна при помощи бесстыдной и унижительной лесты.

В кабинете Станишевский и Зайцев пыхтели над составлением приказа по городу о вступлении в должность. Для облегчения задачи Станишевский раздобыл февральский экземпляр «Глоса Велькопольского», где был напечатан приказ военного коменданта Познани и Познанского повята полковника Смирнова. Поначалу они, не мудрствуя лукаво, решили переписать текст познанского приказа и подписать его своими именами. Однако при внимательном прочтении выяснилось, что в их хозяйстве, как заметил Зайцев, «труба пониже и дым пожиже». После долгих препирательств, споров и взаимных упреков приказ все же был написан. В своих основных положениях он почти повторял приказ по Познани полковника

Смирнова, но был втрое короче, так как площадь применения административных сил Станишевского и Зайцева была вдесятеро меньше, чем у познанского полковника.

— Ну, слушай! — наконец произнес взмыленный Станишевский и торжественно встал из-за стола, держа черновик приказа в руке.

Зайцев плюхнулся в кресло, прикрыл глаза ладонью и сказал:

— Валяй!

Он вспомнил, что именно так, прикрыв ладонью глаза, сидел и слушал музыкальные передачи их сосед по квартире — один интеллигентный старичок из «бывших». У него был редкий по довоенным временам приемник ЭКЛ-4, и Валерка еще пацаном частенько ошивался у этого старичка.

Станишевский удивленно посмотрел на Зайцева и спросил:

— Ты будешь слушать или дрыхнуть?

— Ну деревня!.. — удивился Зайцев. — Я так воспринимаю лучше. Ты читай, читай.

— "Приказ... — начал Станишевский, поглядывая на Зайцева. — Сегодня, тридцатого марта одна тысяча девятьсот сорок пятого года..."

— Чей приказ?! — Зайцев трагически всплеснул руками. — Чей?!

— Ой... — Станишевский испуганно вчитался и тут же успокоился: — Написано, написано! Я пропустил нечаянно.

— Читай внимательней. — Зайцев снова томно прикрыл рукой глаза.

— "Приказ военного коменданта города и повята, — начал снова Станишевский. — Сегодня, тридцатого марта одна тысяча девятьсот сорок пятого года, я приступил к исполнению своих обязанностей коменданта города и повята". Точка. «Пункт первый. Всем учреждениям и предприятиям общественного пользования (электростанция, водопровод, аптека, баня, торгово-промышленные предприятия и другие) продолжать работу, а тем, кто ее прекратил, — возобновить. Пункт второй. Руководителям государственных средств связи — почта, телеграф, телефон, а также частным лицам, имеющим радиостанции, владельцам типографий, типографских машин и множительных аппаратов лично зарегистрироваться в военной комендатуре в течение двадцати четырех часов для получения указаний о дальнейшей деятельности...»

— Так они и побегут регистрироваться... Их уже и след простыл! — сказал Зайцев.

— Наше дело предупредить. А там пусть на себя пеняют.

— Читай дальше.

— "Пункт третий. Всем лицам и организациям сдать до первого апреля в военную комендатуру все огнестрельное оружие военного, спортивного и охотничьего типа, а также и холодное оружие тех же типов. Пункт четвертый. Всем лицам, знающим о местонахождении оружия (независимо от того, кому оно принадлежит) и об имуществе и складах, оставленных немцами, приказываю уведомить об этом военную комендатуру".

— Вот это правильно! — с удовольствием сказал Зайцев. — А то потом начнут пулять из-за угла...

— "Пункт пятый. В течение двадцати четырех часов зарегистрировать в военной комендатуре все имеющиеся в личном распоряжении автомобильные транспортные средства..."

— Не смеши ты меня, Андрюха! — заржал Зайцев. — Выброси ты этот пункт к едрене фене. У кого тут свои автомобили, скажи мне на милость? Им тут задницу прикрыть нечем.

— Ты малограмотный тип, Зайцев. Здесь столько богатых немецких хозяйств, что покопайся в любом фольварке — еще не то обнаружишь! Они оттяпали этот кусок Польши не для того, чтобы тут бедствовать. Заткнись и слушай! «Пункт шестой. Уличное движение разрешаю только от семи утра до двадцати часов вечера по московскому времени. Разрешаю, чтобы уличное движение от двадцати часов вечера до семи часов утра осуществлялось на основании специальных пропусков военной комендатуры».

— Вот с этим пунктиком мы напляшемся! — озабоченно проговорил Зайцев.

— На то нас сюда и поставили, — жестко заметил Станишевский. — «Пункт восьмой. За невыполнение какого-либо пункта данного приказа виновные будут привлечены к ответственности на основании законов военного времени. Военный комендант города и повята капитан А. Станишевский». Точка. «Помощник военного коменданта старший лейтенант В. Зайцев». Ну как?

— Шикарно! — Валерка был в восторге от того, что под приказом стояла и его фамилия. — Ничуть не хуже, чем там у них, в Познани.

— По-моему, тоже толково, — со скромной гордостью сказал Анджей. — Теперь это нужно переписать по польски и можно показывать начальству.

— Давай переписывай, только не тяни резину. Дел еще на сегодня — не разгрести, — сказал Зайцев и выглянул в окно. — Пойду посмотрю, чего он там возится.

— Кто?

— Да этот... Как его? Водитель твой. Что-то у него там не заладилось...

Через двадцать минут Станишевский вышел во двор комендатуры и увидел, что его водитель — капрал Войска Польского — смотрит вдаль отсутствующим взглядом, а его заместитель — старший лейтенант В. Зайцев, — грязный и злой, возится в двигателе «виллиса» и говорит капралу:

— Не естеш керовца! Естеш нурмальные звыклы гувняж!.. Самохуд в таком фатальном стане, же забить те мало!..<sup>[1]</sup>

Валера захлопнул капот «виллиса», вытер грязные руки тряпкой и достал из кузова свой автомат ППШ. Он сунул его капралу в руки и приказал:

— Тшимай пистолет машиновы, курча печена! Усендь с тылу, и жебы жадного джьвеньку от чебэ не слышалэм. Разуметь?<sup>[2]</sup>

Капрал взял автомат с тем же отсутствующим видом, влез в машину и еще долго мостился на заднем сиденье, что-то бормоча.

— Что случилось? — спросил Станишевский.

— Слухай, Анджей! — возмутился Валера Зайцев. — Тен вузек в таком холерным стане... Цощ кропного! И то го вина...<sup>[3]</sup>

— Со мной можешь говорить по-русски.

— Ах да!.. — спохватился Зайцев. — Этот жлоб довел машину до такого состояния, что хочется ему рыло начистить!

— Давай своего водителя.

— Да на кой нам хрен вообще водитель?! Я в Москве на такси работал. Что я, здесь не потрафлю?

— Тогда гони его ко всем чертям. Что ты его на заднее сиденье запихал?

— Пусть сидит, раздолбай несчастный. Будет у нас заместо Санчо Пансы, — рассмеялся Валера и сел за руль. — Нам еще медперсонал санбата расквартировать надо. А то они уже вкалывают, а жить им пока еще негде. — И добавил по-польски: — Сядай, сядай, проше те упшейме!<sup>[4]</sup>

Станишевский сел в машину, взревел двигатель, и Валера рванул «виллис» вперед.

— Учись, деревня! — сказал Зайцев капралу и лихо выехал со двора комендатуры.

Текст приказа быстро согласовали с замполитом польской дивизии и командиром советской. По указанию полковника Сергеева текст был переведен еще и на немецкий язык. С величайшим трудом был разыскан начальник дивизионной походной типографии.

Станишевский приказал немедленно, в течение двух часов, отпечатать на трех языках приказ в количестве двухсот пятидесяти штук. Зайцев настаивал на тысяче экземпляров, и ни одним экземпляром меньше!

— Ты что, Берлин взял? — спрашивал его Станишевский. — Где ты в этом клоповнике собираешься развесить тысячу экземпляров? В тебе говорит ваша обычная российская гигантомания...

— Ну и пусть! — стоял на своем Зайцев. — Мы действительно привыкли мыслить масштабно. «От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей...» А тебе не хватает широты — вот ты и жмешься...

Сторговались на пятистах экземплярах. Растолкали успевшего задремать начальника типографии, пригрозили ему всем, чем можно, — от кар небесных до военного трибунала — и поехали разыскивать начальника медслужбы советской дивизии, которому непосредственно был подчинен медсанбат.

Когда они вчетвером — Станишевский, Зайцев, начальник медслужбы и Санчо Панса с автоматом на заднем сиденье «виллиса» — подъехали к бывшему зданию городской больницы, из окна второго этажа выглянула старшая сестра Зинка и крикнула им:

— Стойте, стойте! Не поднимайтесь. Товарищ майор сами к вам идут!

Васильева вышла в сопровождении Зинки и старшины Невинного. Она была подтянута, одета по всей форме. Чутьку коротковатая шинель плотно стягивала талию, открывала красивые ноги. Ресницы были подмазаны, на губах — легкий, почти прозрачный слой хорошей, неяркой губной помады. Начмед тоскливо отвел глаза в сторону, Станишевский ласково улыбнулся, приложил руку к козырьку, а Зайцев даже рот раскрыл от удивления.

Васильева незаметно подмигнула ему и четко доложила начальнику медслужбы, что место для размещения личного состава уже найдено старшиной Невинным, — если начальник медицинской службы дивизии, а с ним и представители польско-советской комендатуры не возражают, они могли бы сейчас же осмотреть этот дом. Тем более что он находится в пятидесяти метрах отсюда. Достаточно перейти улицу.

— Так точно, — подтвердил Невинный. — Вот видите огрудек за воротами? А в нем такой домик — будьте-нате, товарищ подполковник! Воздушку протянем, телефончик поставим и... Вот пойдемте, я вам покажу. Там комнат пятнадцать, и всего один старик живет. Все и разместимся. Не строевой ведь батальон, а медицинский...

И Невинный повел всех через мощенную диабазом улочку к высоким железным, несколько вычурным воротам в середине длинного, во весь квартал, красивого каменного забора, из-за которого торчали густо посаженные деревья с еще голыми безлистными ветвями...

Они долго рассматривали старинный роскошный особняк с огромной кухней внизу, узкими лестницами из черного дерева, ведущими на второй этаж, анфиладами комнат с дополнительными отдельными входами и общим залом в первом этаже.

В доме было почти все цело, и только легкие следы поспешного бегства напоминали о том, что хозяев тут нет, а сопровождающий медицинско-комендантскую группу старик — не более чем служащий в этом доме.

Зайцев перекинулся парой слов с этим стариком и уже чувствовал себя хозяином положения, предлагая свои варианты расселения медперсонала.

— Кому принадлежал дом? — спросил Станишевский у старика.

— Отставному генералу барону фон Бризену, пан капитан, — коротко поклонившись Анджею, ответил старик.

Он был высок, сухощав, и в его манере коротко, не сгибая спины, кланяться, отвечая на вопрос, чувствовалось достоинство старого военного служаки. Ему было не менее семидесяти лет.

Станишевский взгляделся в лицо старика и подумал о том, что этого человека он где-то совсем недавно видел. Они встретились глазами, и старик снова легко наклонил голову, отвечая на незаданный вопрос Стапишевского.

— Пан капитан видел меня в офлаге три часа тому назад. Я переводил речь вашего генерала на итальянский язык.

— Ну что ж... — кисло проговорил начмед, — я думаю, что вам здесь будет удобно.

— Обрато же комендатура недалеко, — пропела Зинка.

— Уймись! — одернула ее Васильева.

— Старика этого можете держать при себе, — сказал Валера. — Он и по-немецки шпрехает.

Зайцев по-свойски хлопнул старика по спине и крикнул ему по-польски:

— Пан добже разуме по-немецку?<sup>[5]</sup>

— Так ест, проше пана <sup>[6]</sup>, — поклонился старик.

— Он тут на них лет двадцать вкалывал, — объяснил всем Валера нормальным голосом и снова закричал старику, который стоял к нему ближе всех остальных: — Иле пан працевалось в немчех?<sup>[7]</sup>

— Кавал часу... Двядесча тши лята, проше пана <sup>[8]</sup>, — ответил старик и вдруг сказал неожиданно на превосходном русском языке: — И не кричите так, пожалуйста. Я прекрасно слышу.

На секунду все опешили. Валера Зайцев первым пришел в себя и железной хваткой сгреб старика за отвороты куртки.

— Ты мне тут спектакли не разыгрывай! Фамилия?

Но этого старика испугать, видимо, было трудно. Не сопротивляясь, он просто поморщился от неудобства.

— По-немецки или по-польски?

— А у вас две фамилии? — немедленно спросил Анджей.

— Да, — ответил старик. — Отпустите меня, пожалуйста. Вы делаете мне больно.

— Отпусти его, — сказал Станишевский Зайцеву.

Валера нехотя выпустил старика. Тот спокойно одернул на себе помятую куртку.

— Здесь все, даже исконно польское, имело немецкие названия. По-польски я — Збигнев Дмоховский.

— Ну а кто ты был по-немецки, мы еще выясним, — пообещал ему Зайцев. — Через особый отдел, а еще лучше — через контрразведку крутанем...

Начмед дивизии был не на шутку испуган. Но Васильева отодвинула Валеру в сторону и неприязненно сказала ему:

— Да погоди ты, Зайцев... Что это у вас, у мужиков, одна и та же болезнь на всех?! Как власть дадут вам в руки, так вы дуреете прямо. Мне вот, например, переводчик нужен. У меня четырнадцать раненых фрицев лежат. Из них — шесть тяжелых... Час тому назад один кончился. Не могли понять, что он там бормочет. Я с ними без переводчика как без рук...

— Пожалуйста, товарищ майор, — согласился Зайцев. — Только потом, если что случится... В конце концов, тут ваш непосредственный начальник — товарищ подполковник...

Подполковник был здесь человеком новым. Он прибыл в дивизию на должность начмеда лишь два месяца тому назад и еще недостаточно уяснил для себя внутреннюю расстановку сил. Однако, будучи человеком опытным и осторожным, он решил, что уверенная и свободная манера держать себя в любой обстановке, некоторая излишняя резкость в суждениях и оценках майора Васильевой наверняка поддерживаются чьим-то сильным покровительством «сверху». Будто бы ей, Васильевой, что-то такое известно, чего ему, ее непосредственному начальнику, знать не положено. Ничего удивительного — женщина одинокая, привлекательная, а большие командиры — тоже люди, тоже человеки. Хорошо еще, что она специалист отменный. А была бы на ее месте какая-нибудь — таких дров наломала бы...

Тем не менее подполковник счел своим долгом отвести Васильеву в угол и прошептать ей, что такими вещами не шутят — он показал глазами на старика Дмоховского — и он на себя ответственности взять не может.

— Ну давайте под мою ответственность, — усмехнулась Васильева и закурила. — Вам так удобнее?

Подполковник представил себе весь командный состав дивизии и подумал: «Интересно, с кем же у нее шуры-муры?..»

К пятнадцати ноль-ноль замок был разминирован. Не осталось ни единого непроверенного угла, ни одной неосмотренной лестнички. Замок был выстроен в конце четырнадцатого века и окружен крепостной стеной, сооруженной несколько позже. Весь ансамбль с характерными для польского средневековья остроконечными башенками по всей крепостной стене, с бойницами, угрюмо и слепо зияющими своими пустыми глазницами из под таких косых черепичных скатов, что на них и кошке не удержаться, с большим внутренним двором, выложенным серыми каменными плитами, напоминал знаменитый краковский Барбакан и Флорианские ворота.

Попасть в замок можно было только через двор, сквозь единственные ворота в крепостной стене, а там, дальше, уже во внутренние покои — через две могучие, окованные черным железом двери мореного дуба. Одна дверь вела в правую часть замка, вторая — в левую. Широкие лестничные марши со старыми ступеньками шли вверх пологими полукружьями и там сходились в одно большое мрачное помещение с высоченными стенами из грубого, почти не отесанного камня. Столетиями закопченный потолок из толстенных дубовых брусьев был почти не освещен. От длинных узких окон свет попадал только на пол и лишь к вечеру с трудом доползал до середины стен, да так на них и угасал, не дотянув до потолка.

В ознаменование освобождения города и по случаю вселения штабов польской и русской дивизий в замок было решено устроить торжественный обед для командного состава с приглашением освобожденных из плена старших офицеров союзных войск.

— И чтобы переводчики были! — приказал Юзеф Андрушкевич. — С французского и английского. Старший группы итальянцев запросто треплется по-французски. Сам слышал. Так что нам тот цивильный старик не требуется...

Уже через час во дворе замка стояло несколько машин, метались польские и советские ординарцы и адъютанты, носились солдаты роты охраны — таскали из машин штабное имущество. Уже съезжались выбритые, в свежих подворотничках, в отглаженных кителях и мундирах, в сверкающих сапогах командиры подразделений и начальники служб. А над всей этой суетней витали фантастические запахи. Они выплывали из открытых окон первого этажа левого крыла замка, где находилась громадная средневековая кухня. Запахи сводили с ума рядовой и сержантский состав, да что скрывать, заставляли и старших офицеров глотать слюну и нервно поглядывать на часы.

Через огромные ворота в крепостной стене во двор замка неторопливо въехал трофейный «хорх». В нем сидели генерал Януш Голембовский и командир советской дивизии полковник Сергеев.

Капеллан дивизии майор Бжезиньский первым увидел машину генерала и зычно скомандовал по-русски:

— Товарищи офицеры!

Двор замер. Прекратилось какое-либо движение. Казалось, что в воздухе застыли даже роскошные кухонные запахи.

Голембовский и Сергеев одновременно вылезли из «хорха» с разных сторон. Генерал оглядел двор, остался доволен увиденным и коротко козырнул:

— Вольно, вольно...

Словно по мановению волшебной палочки, двор ожил. Голембовский перевел взгляд на Шарейко и тут же строго спросил:

— Танки на исходных?

— Так точно, — улыбнулся майор Шарейко.

— Чего это ты веселишься? — подозрительно спросил его генерал.

— Да я уж тут рассказывал. Одна машина во время переброски попросила разрешения на ремонт и отстала. Я их на позиции жду, а они, черти, починились и какой-то бабе землю танком пашут!

— Землю пашут?! — поразился генерал.

— Самое время, — негромко сказал капеллан. — Послезавтра — Пасха. Начало весны.

— Ах ты черт возьми... — расслабленно вздохнул Голембовский. — Вот ведь штука-то какая!.. Юзек! Андрушкевич!.. Иди сюда. Послушай, что делается-то...

Замполит с сожалением оторвался от разговора с хорошенькой переводчицей, извинился перед ней и подбежал к генералу:

— Слушаю вас!

— Вот Куба говорит, что послезавтра — Пасха, а Шарейко докладывает, что люди уже землю пашут! А ведь все это дела замполита! А ты там к девочке приклеился — клещами не отодрать. Как-никак три дня свободных. Подумал бы...

— Эту землю, товарищ генерал, сейчас все равно не поднять. Из нее одно железо торчит. Да взрывчатка в нее напихано — на всех нас хватит. А с Пасхой есть идея: отпраздновать ее по всем правилам. Куба стол освятит, отслужит молебен в костеле.

— Там нет крыши, — сказал Бжезиньский. — Только стены и алтарь.

— Ничего страшного. Нет крыши — ближе к Богу. Обязательно молебен в костеле. Это будет иметь очень важное политическое значение! И для наших, и для местного населения. Как идея?

Генерал вопросительно посмотрел на полковника Сергеева и вздохнул:

— Мысль толковая... Как вы считаете, Петр Семенович?

Сергеев смутился, ответил не сразу:

— Наверное, это неплохо. Но нас, как вы понимаете, Пасха не касается. Мы просто отдыхаем, приводим себя в порядок. А вот насчет пахоты... От этой идеи я бы не отмахивался. А Пасха, повторяю, нас касаться не должна. Тут уж извините.

— "Омниа нон паритер рерут сунт омнибус апта..." Не все одинаково пригодно для всех, — тихо сказал капеллан.

Генерал с уважением выслушал латинскую фразу и ее перевод на русский язык, покачал головой и удивленно сказал:

— А какой минометчик был, помните?

— Равных не было! — рассмеялся Андрушкевич и обнял капеллана.

Во двор замка тихо вкатился комендантский «виллис» с двумя флажками на крыльях — польским и советским. Фары у него были зажжены. За рулем сидел Валера Зайцев, рядом с ним — Станишевский. Санчо Панса, как истукан, неподвижно восседал сзади с автоматом в руках.

Следом за «виллисом», с интервалом в пять метров, въехал «додж»-три четверти со старшими офицерами союзных войск, только что освобожденными из лагеря для военнопленных.

Обе машины развернулись и затормозили прямо перед генералом Голембовским и полковником Сергеевым. Станишевский и Зайцев выскочили из своей машины, вытянулись в струнку. Из «доджа» вылезли два американских майора, один французский подполковник и два полковника — английский и итальянский.

— Переводчики! — рявкнул Голембовский.

— Есть «переводчики»! — Младший лейтенант подошла к Голембовскому и взяла под козырек. Туда же рванул и подпоручник из штаба Первой армии.

Станишевский попытался доложить генералу о том, что его приказание выполнено и старшие офицеры союзных войск... Но генерал прервал его и сказал, обращаясь прямо к союзникам:

— Радуюсь возможности еще раз приветствовать коллег. Хочу предложить вам отобедать вместе с нами и выпить в честь нашей совместной победы по рюмке русской водки и по келишку польского бимбера.

Хорошенькая переводчица и подпоручник одновременно затараторили по-французски и по-английски. Союзники закивали головами, заулыбались.

— Прощу! — скомандовал генерал Голембовский.

Все двинулись к правым дверям.

В это же самое время чешская девушка Лиза, в уже каком-то умопомрачительном ядовито-зеленом вечернем платье, в стеганом русском солдатском ватнике, небрежно наброшенном на оголенные плечи, словно это была не обычная солдатская «стеганка», а по меньшей мере — соболий палантин, с польской примятой конфедераткой на голове, пела не очень пристойную песенку под аккомпанемент уличного польского оркестрика.

Не сторонясь машин, заняв мостовые, шатались по площади польские и русские солдаты. Ходили невозмутимые советско-польские комендантские патрули. В разных углах площади на разных языках пели разные песни. Два сильно подвыпивших польских капрала пытались столкнуться с французским лейтенантом из офлага. Английский сержант размахивал широкополой шляпой с приколотым к тулье советским гвардейским знаком. Американский летчик в защитной робе и без шапки останавливал всех встречных и предлагал помериться силой...

Основная толкучка шла вокруг стоящего в центре площади высокого замшелого пьедестала, на котором еще вчера красовался бюст одного из бранденбургских маркграфов. Однако сегодня утром на площадь случайно заскочил один из танков майора Мечислава Шарейко. Танк просто так, для смеху, подъехал к памятнику, и оказалось, что бюст грозного воителя по высоте находится точно на уровне танкового орудия. Экипаж решил, что он просто обязан каким-то образом отметить собственное участие в освобождении городка и возвращении его Польше. Танк примерился и медленно отвел орудие в сторону. Затем резко развернул башню в обратном направлении и пушкой, словно дубиной, сшиб этого бранденбуржца к чертям собачьим. И пьедестал на несколько часов опустел. Вот вокруг него и началось непредсказуемое представление.

Какой-то советский солдатик-хохмач взобрался по спинам двух своих дружков на этот осиротевший пьедестал и застыл там, изображая монумент.

Толпа вокруг разрывалась от хохота. Но солдату этого показалось недостаточным. Воспитанный яслями, детскими садами и пионерскими лагерями в духе обязательного коллективизма, он узрел стоящего внизу польского солдата и стал втягивать его к себе наверх. Поляк тут же принял условия игры и с помощью нескольких приятелей тоже вскарабкался на пьедестал. Для двоих места там оказалось маловато. Обнявшись, они долго мостились на этом пятачке, каждую секунду рискуя свалиться оттуда и свернуть себе шею. Но наконец-то им удалось найти наиболее выгодное положение, и они замерли на этом пьедестале уже монументальной скульптурной группой. И в эти мгновения, когда площадь буквально изнемогала и



корчилась от восторга, глядя на этих двух замечательных шутов с серьезными окаменевшими физиономиями, не было в этом «памятнике» никакой символики. Была только безудержная широта и готовность к веселью в любой момент своей небезопасной жизни! А вокруг торчали поляки и русские, югославы и венгры, американцы и французы, итальянцы и англичане.

Все это происходило напротив бывшего ресторана-кабаре «Под золотым орлом», хозяин которого, очухавшись от мгновенной перемены власти, возобновил свою полезную деятельность уже под польским названием: «Под бялым орлэм», что означало — «Под белым орлом». Часть столиков была вынесена прямо на площадь, под навес из явно украденного войскового брезента, а на витрине вместо немецкого «Каффе унд бир — дас лоб их мир» появилось не очень грамотно написанное обещание с удивительным для этих мест одессизмом: «Обеды — как у мамы!»

Вот в это-то вавилонское столпотворение и попал Вовка Кошечкин — новобранец, прикомандированный к медсанбату. Приказом старшины Невинного он был закреплен за кобылой и телегой с бочкой для воды, снабжен двумя ведрами и черпаком на длинной деревянной ручке. В его обязанности была вменена доставка воды для медико-санитарного батальона, проведен соответствующий инструктаж: «Только попробуй кого-нибудь подпустить к этой воде! Родную маму забудешь!..» — и Вовка выехал в свой первый рейс на речку. Там он натаскал ведрами полную бочку и теперь возвращался в распоряжение медсанбата, с грустью наблюдая за тем, как из квадратного отверстия в бочке на каждой выбоине и ухабе выплескивается с таким трудом добытая влага.

На обратном пути он слегка подзапутался и заблудился. Хотел вернуться назад в медсанбат тем же путем, которым ехал на речку, но одна уже знакомая ему улочка вдруг оказалась наглухо перегорожена заглохим бронетранспортером, вторую напрочь перекрыли минеры, а по третьей, еле продравшись сквозь вереницу беженцев и переселенцев, лающих на всех возможных языках, Вовка совершенно неожиданно для себя выкатился на забитую народом Рыночную площадь. Испуганная лошадь раза два шархнула в сторону и вынесла Вовку с телегой и бочкой прямо к оркестрику, которым дирижировала Лиза. В этот оркестрик уже влез итальянец. Он давал ритм оркестру двумя обычными солдатскими ложками, барабаня ими по пустой американской канистре из-под бензина. Тут же торчал француз, гоготал американский летчик и что-то вопил толстый английский сержант.

Живой «памятник» на старинном пьедестале несколько отвлек внимание толпы от Лизы, и теперь она жаждала реванша. Ей давно не хватало сцены, и она тут же попыталась взобраться на медсанбатовскую телегу. Американец, француз и англичанин помогли ей оседлать бочку, и через секунду она уже что-то радостно вопила, обнимая за шею ошалевшего от испуга Вовку Кошечкина.

— Послушайте!.. — вырываясь из Лизиних объятий, бормотал перетрусивший Вовка. — Так нельзя... Это вода для госпиталя! Послушайте...

Но Лиза поцеловала его в щеку и тихонько шепнула ему на ухо:

— Малшик, можно я с тобой ехать? Я очень устала. Возьми меня с собой...

— Вы что?! Я при исполнении служебных обязанностей! Вам со мной никуда нельзя! Я советский человек... Это вода для раненых! Сойдите с телеги, пожалуйста!..

За всей этой нелепой сценой спокойно и внимательно наблюдал молодой обросший лейтенант из эсэсовской группировки. Свитер, грубая куртка, вязаная шапочка и велосипед в руках делали его похожим на всех. Он стоял позади оркестрика и даже покачивал головой в такт мелодии. У него были четкая цель и крепкие нервы.

Генералу фон Мальдеру было совсем плохо. Время от времени он впадал в бессознательное состояние, бредил и просил пить. Потом приходил в себя, и уже в полном сознании к нему возвращалась боль. Тогда его глаза устремлялись в земляной потолочный накат бункера и переставали мигать. Лицо покрывалось каплями пота, зубы сжимались. Все его крупное тело судорожно деревенело, и откуда-то изнутри, сам собой, вдруг начинал возникать тихий стон, переходящий в глухое яростное рычание.

Иногда он приходил в себя до наступления болей. Тогда он мог разговаривать с Квидде, разумно оценивал сложившуюся ситуацию и даже изредка пытался ласково пошутить с кем-нибудь из офицеров группы.

Сердце Герберта Квидде разрывалось от жалости. Его многолетняя нежная привязанность к Отто фон Мальдеру сейчас была обострена тяжелым состоянием генерала. Никогда, думал Квидде, этот прекрасный, сильный, глубоко интеллигентный человек так не нуждался в его помощи, как теперь. И он, гауптман Герберт Квидде, сделает для этого больного, беспомощного, но такого близкого ему человека все. Он сбережет его, вытащит, спасет, даже если для этого потребуется положить всех, кто будет идти вместе с ним и против него.

Час тому назад Квидде выслал в разведку троих. Он поручил им проверить все слабые места в расстановке боевого охранения противника в направлении линии фронта, для того чтобы иметь полное представление о возможности прохода к своим или, в конце концов, прорыва с боем. Он отчетливо понимал, что любой предпринятый им шаг будет невероятно осложнен транспортировкой генерала. И пока этот лейтенантишка, этот абверовский выродок, со своим знанием варварского польского языка не отыщет какого-то там Аксмана и не достанет медикаменты для генерала, чтобы хотя бы на время приостановить гангрены, которая уже явно началась и заявила о себе бредом, температурой и, наконец, запахом, он, Квидде, будет попросту беспомощен...

Он окинул взглядом бункер. Десятка три обросших, измученных офицеров спали вповалку. Человек десять молча сидели у стен, отрешенно глядя прямо перед собой. Через открытую дверь бункера — единственный источник света — были видны еще несколько человек. Одни охраняли вход в бункер, другие просто сидели на голой земле, прислонившись к стволам деревьев, и курили, не выпуская оружия из рук.

Где-то далеко погромыхивали орудия. Каждый раз, когда раздавался орудийный гул, кто-нибудь из дремлющих в бункере приоткрывал глаза и с надеждой прислушивался.

Квидде сидел рядом с лежащим генералом. Пожалуй, только он выглядел подтянутым и свежим. Он даже был чисто выбрит, причесан. И только опухшие, покрасневшие глаза его свидетельствовали об усталости и постоянном бессонном напряжении.

Недавно генерал очнулся и с удивлением отметил, что боль еще не наступила. Это придало ему силы, и он решил отвлечь Квидде от мрачных мыслей рассказом о двух днях, когда-то пережитых им в молодости.

—... В июне — уже был двадцать седьмой год — я взял отпуск и поехал в Италию... Потом я много раз бывал в Италии... Бог мой, какой это был райский уголок земли! Знаешь, Герберт, если тебе, мой дорогой мальчик, когда-нибудь захочется узнать Италию не по «Бедкеру», заходи почаще в trattoria... Но перед тем как зайти, обязательно посмотри, сидят ли за столиком два-три священника. Если сидят — заходи смело. Значит, тут и готовят хорошо, и вино славное...

Генерал посмотрел в потолочный накат бункера и добавил дрогнувшим голосом:

— И солнце... Теплое, ласковое солнце. Повсюду солнце...

В дверях появился верзила в русском ватнике с Железным крестом на шее. Он перекрыл собой свет в бункер и молча остановился.

— Прошу прощения, господин генерал, — тут же произнес Квидде и встал.

Он подошел к верзиле, пошептался с ним и вернулся к генералу. Сел рядом, поправил подушку под головой фон Мальдера, аккуратно подоткнул сползшее одеяло и только после этого доложил:

— Вернулась группа разведки. Дороги блокированы. Нужно ждать ночи.

— А Дитрих?

— Он в городе. Он должен связаться с Аксманом. Тогда мы получим необходимые медикаменты... — Квидде осторожно вытер полотенцем мокрое от пота лицо фон Мальдера и сказал с легкой обнадеживающей улыбкой: — Русские санитарные батальоны теперь пользуются прекрасными американскими антисептическими средствами... И есть надежда, что господин Аксман нам в этом поможет.

— Если он жив, если он там, если, если, если... — Фон Мальдер поднял руку и погладил Квидде по лицу. — Я знаю, как ты хочешь мне помочь, мой мальчик. А нужно ли?

— Я умоляю вас!

— Ну хорошо, хорошо... Не огорчайся. Я просто немного ослаб. — Генерал устало улыбнулся и решил переменить тему: — А ты знаешь, что Аксман — поляк?

— Поляк?! — насторожился Квидде.

— Не поднимай шерсть на загривке, малыш. Когда ты еще питался только материнским молоком, он уже воевал с русскими под знаменами маршала Пилсудского. Кстати, Аксман — это не настоящее его имя. У него какая-то длинная польская фамилия. Раньше я помнил ее, а теперь забыл...

— Так... — растерянно проговорил Квидде. — Ну что ж, подождем ночи.

Неожиданно фон Мальдер напрягся, широко открытые глаза застыли и уперлись в потолок бункера, и он почувствовал, как снизу, от искаленных ног, стала подниматься дикая боль. Она медленно расплзалась по всему телу фон Мальдера и со страшной неотвратимостью заполняла его мозг.

— Подождем солнца... — вдруг прошептал он.

Квидде тревожно заглянул ему в лицо, поднял судорожно сведенную руку генерала, нащупал слабенький, лихорадочно мечущийся пульс и подумал: «А нужно ли?..»

В ресторанчике «Под белым орлом» стоял дым коромыслом.

Все столики были заняты американцами, французами, итальянцами, англичанами, поляками и русскими. Наверняка здесь были и немцы. Уличный оркестрик уже перекочевал сюда и теперь сопровождал эстрадный номер в исполнении чешской девушки Лизы. Номер был универсален — он состоял из разухабистого танца, немецкого текста, речитатива и мгновенных ответов на выкрики из зала. С моноклем в глазу, в лихо заломленной конфедератке на голове, Лиза изображала на немецкого полковника, то французскую шансонетку, то наступающего солдата, то еще кого-то. Все это было пронизано бесшабашным юмором и достаточной долей сценического мастерства.

Ближе всех к маленькой эстрадке сидели американский летчик, английский сержант, француз и итальянец. Все четверо не сводили с Лизы восторженных глаз и шумно аплодировали.

В самом дальнем углу, у окна, за крохотным столиком сидели старшина Степан Невинный и экс-водитель польско-советской комендатуры Санчо Панса. Глядя на них со стороны, можно было подумать, что два приятеля ведут беседу на одном, понятном им обоим языке, обсуждая одну, чрезвычайно близкую им общую тему. Однако все обстояло не так. Невинный ни слова не понимал по-польски, говорил только по-русски и только о себе. Санчо Панса, не зная ни одного русского слова, говорил только по-польски, жалуясь на свою судьбу. Их объединяло родство душ, растворенное в невероятном количестве пива.

— Носится как сумасшедший и думает, что он лучше шофер, чем я, — жаловался Санчо Панса на старшего лейтенанта Зайцева. — Ты тихо научись ездить, а быстро всякий дурак сумеет...

— Вот я тебе клянусь, — отвечал ему Невинный по-русски. — Я ни супа, ни хлеба в рот не беру! А про картошку и думать забыл. И не хую... Вот скажи — почему? Проблема...

— Пожалуйста! — говорил ему Санчо Панса по-польски. — Я могу и сзади сидеть. Он старший лейтенант, а я всего лишь капрал...

— Мне бы килограммчика три сбросить — меня никто узнать бы не смог, — сказал Невинный и выпил полкружки пива.

Санчо Панса отсалютовал ему своей кружкой и заявил:

— Это, может быть, у себя там, в Москве, он на такси — король! А здесь ему не Москва. Здесь Польша... — И тоже выпил полкружки.

— Я тебе хуже скажу, — зашептал Невинный на ухо Санчо Пансе. — Я даже английскую соль пью... Слабительное, извини за выражение. И хоть бы хны!

— А очень просто! — решительно ответил ему Санчо Панса. — Уйду я от них в обычный строевой автобат. Плевал я на их комендатуру! Правильно?

В надвигающихся сумерках одна из окраинных улиц городка была перегорожена двумя машинами — «студебекером» и трофейным немецким грузовиком.

С работающими двигателями и включенными фарами, они стояли друг против друга на расстоянии сорока метров и освещали край разрушенного дома и глубокую воронку, оставшуюся от большой фугасной авиабомбы.

В этом освещенном участке копошились с полсотни польских и советских саперов. Расширяли и углубляли воронку, рыли траншею, освобождали от земли, щебенки и битого кирпича разорванные взрывом трубы, по которым должна была идти вода в город.

Воронка была затоплена, и два русских умельца, тихонько матерясь, пытались завести бензиновый движок насоса.

Неподалеку, прижавшись к стене разрушенного дома, стоял комендантский «виллис» Станишевского и Зайцева.

Сегодня, разбирая остатки архива немецкой комендатуры, Станишевский обнаружил пожелтевшую и истрепанную схему городского водопровода, а Зайцев каким-то чудом отыскал не успевшего смотаться городского инженера по водоснабжению. Инженер оказался поляком, но говорил по-польски с таким немецким акцентом, что Станишевского чуть не стошнило. Кроме всего, пан инженер был смертельно перепуган и от этого вел себя крикливо и вызывающе.

Сейчас, стоя у края воронки, заполненной водой, он, высокий, тощий, в узком потертом пальто и фуражке с теплыми наушниками, раздраженно потыкал пальцем в старенькую схему водных коммуникаций и с истерическими нотками в голосе заявил Станишевскому:

— Сначала вы сами бросаете бомбы черт вас знает куда, разворачиваете водопроводную магистраль, а потом требуете...

Но Станишевский жестко прервал его:

— Короче! Я назначил вас ответственным за водоснабжение. Если к шести часам утра в городе не начнет работать водопровод, я расценю это как саботаж и...

— Вы только не пугайте меня! — высоким голосом крикнул инженер и втянул голову в плечи.

— А вы не успеете испугаться, — спокойно сказал ему Анджей. — Я просто расстреляю вас.

Он отвернулся от инженера и крикнул командиру русских саперов, младшему лейтенанту лет девятнадцати:

— Кузьмин! Коля!.. Почему генератора для электросварки до сих пор нет?

— Не волнуйтесь, товарищ капитан, сейчас будет! Уже едут.

Зайцев отвел Станишевского к «виллису», показал глазами на инженера, который уже бросился собственноручно заводить насосный движок, и негромко спросил:

— А если они действительно не успеют к шести?

И тогда Станишевский посмотрел на Зайцева такими глазами, каких Зайцев у него не видел никогда.

— Шлепну как миленького, — еле сдерживая ярость, проговорил Станишевский. — Ты же не понял, как он говорит по-польски! Я его наизнанку выверну!..

— Ну ты даешь... — потрясенно пробормотал Зайцев.

Из-под «студебекера» раздался истошный крик:

— Капитан Станишевский! Старший лейтенант Зайцев! Капитан Станишевский!..

Оскальзываясь в комьях сырой земли, выброшенной из траншеи, к комендантскому «виллису» бежал пожилой польский солдат с патрульной повязкой на руке.

— Что еще стряслось? — спросил его Станишевский. — Что вы орете как ненормальный?

Солдат испуганно оглянулся, не слышит ли кто, и зашептал:

— Там... В ресторане... Кошмар! Союзники такое творят!.. Жуткая драка! Смотреть страшно... Ужасная драка!..

— Наши тоже участвуют? — деловито спросил его Станишевский.

— Немножко... — неуверенно произнес солдат.

— А наши? — рванулся к нему Зайцев.

— Никак нет! — убежденно ответил солдат. — Стараются не обращать внимания.

Дрался почти весь ресторан.

Переворачивались столы, вдребезги разбивались стулья, окна со звоном брызгали осколками стекол. Поклонники Лизы — американец, англичанин, француз и итальянец — дрались между собой и со всеми остальными.

— Ребята! — вопила Лиза. — Я же никому ничего не обещала! Ох черт!.. Где же этот русский мальчик с водой для раненых?! Только ему от меня ничего не нужно...

Словно тихий прохладный оазис в знойной раскаленной пустыне, будто островок в бушующем море, стоял в дальнем углу у окна столик Невинного и Санчо Пансы. Не обращая внимания на происходящее, Невинный оберегал своими огромными лапищами пивные кружки, которыми был уставлен столик. Он сидел спиной к драке, и только когда кто-нибудь в боевом раже наваливался на него, отпихивал плечом и продолжал давно начатый разговор:

— Я уже и пробежки делал по утрам, и в бане парился... Ни хрена!

— Вот то-то и есть, — горестно шмыгал носом Санчо Панса. — Ты, говорит, не следишь за машиной... А когда за ней следить? Минуты свободной нету...

— Был бы я в строевой части... Но я же в санбате! Там одни бабы. Меня за мужика не считают. Ну ничуть не стесняются! Я для них просто толстый человек... — горько сказал Невинный.

После сокрушительного удара американца на Невинного упал француз и осоловело уставился на него и на Санчо Пансу.

— Не балуй, — кротко сказал Невинный и плечом отпихнул француза. Тот отлетел в сторону.

Итальянец увидел это, выдрался из общей кучи и тут же бросился на Невинного. Француз очухался и тоже полез в драку. Невинный привстал, удержал их обоих на расстоянии своих вытянутых рук и сказал им вежливо, как и полагается русскому человеку, временно оказавшемуся за границами своей Родины:

— Как же вы ведете себя в общественном месте?

И в эту секунду произошло чудо! Санчо Панса вдруг стал понимать все, что говорил Невинный, а Невинный тут же обнаружил, что разбирает все, о чем говорит Санчо Панса!

— Вот сволочи, — удивленно сказал Санчо Панса. — И чего лезут?

— Нехорошо, — сказал Невинный французу. — Некультурно.

— Да дай ты ему в глаз, — посоветовал Санчо Панса.

— Нельзя, — ласково сказал Невинный. — Союзник. Только пьяный.

— Это тебе нельзя. А мне можно, — уверенно произнес Санчо Панса. — Я на своей земле. Отодвинь-ка итальяшку...

Он поставил кружку с пивом и так врезал французу, что тот перелетел через два стола. Санчо Панса отхлебнул из кружки и вторым ударом отправил итальянца в глубокий нокаут.

Распахнулись входные двери, и в ресторан ворвались патрульный наряд, Зайцев и Станишевский с автоматом в руке.

Санчо Панса увидел Зайцева и тут же, на глазах у изумленного Степана Невинного, выскочил в окно. Но Валера этого даже не заметил.

— Прекратить!!! — заорал он и выхватил из кобуры пистолет. — Стрелять буду!..

Никто не обратил внимания на истошный крик Зайцева. Тогда Анджей Станишевский поднял автомат и дал в потолок длинную очередь. И драка немедленно прекратилась. Наступила мертвая тишина. Затрещал потолок, посыпалась сверху какая-то труха, что-то наверху хрястнуло, и на пол рухнула большая медная люстра.

— Обещаешь стрелять — стреляй, — назидательно заметил Станишевский Зайцеву. — Чего зря глотку драть?

Из семнадцати арестованных в ресторане шестерым понадобилась срочная медицинская помощь. У американца была разбита надбровная дуга и никак не останавливалось кровотечение; англичанина кто-то треснул бутылкой по голове, и наверняка нужно было накладывать швы. Француз оказался с распоротой ягодицей — видимо, когда падал после удара Санчо Пансы, он умудрился задом проехать по бутылочному осколку. Итальянец просто не мог прийти в себя и почти не подавал признаков жизни. Польскому сержанту-пехотинцу вывихнули в плече руку, кому-то из местных выбили два передних зуба, отчего его верхняя губа вздулась до чудовищных размеров и явно требовала врачебного внимания. Остальные участники побоища отделались синяками, царапинами и ссадинами.

Всех арестантов погрузили в кузов комендантского «ЗИСа», и так как второй грузовой машины не оказалось, было решено всем вместе сначала ехать в медсанбат, а уж потом — для дознания — в комендатуру.

Когда были отданы последние распоряжения и Станишевский с Зайцевым собирались сесть в свой «виллис», на заднем сиденье они обнаружили неподвижно сидящего Санчо Пансу.

В последнюю секунду, когда «виллис» и «ЗИС-5» уже тронулись, с криком: «Эй! Эй!.. Я тоже! Меня нельзя оставлять!..» — в кузов «ЗИСа» ввалилась Лиза, прижимая мокрый платок к подбитому глазу.

В перевязочную были вызваны два хирурга — майор Васильева и недавний выпускник Военно-медицинской академии старший лейтенант Игорь Цветков. Операционная сестра Зинка уже раскладывала инструменты и перевязочный материал.

Для необходимого общения с союзниками, говорящими на разных языках, был поднят с постели старик Дмоховский.

Невинный же прибыл вместе со всеми в комендантском грузовике, как ни в чем не бывало быстренько напялил на себя кургузый белый халат и теперь трогательно ухаживал за бесчувственным итальянцем.

Во дворе медсанбата четыре солдата комендантского взвода под командованием старшего сержанта Светличного сторожили кузов «ЗИСа», набитый задержанными.

Так как все пострадавшие были пьяны, никому не делали никаких обезболивающих уколов. Васильева заявила, что не собирается тратить на эту алкогольную ораву бесполезные сейчас для них редкие лекарства, так необходимые настоящим раненым.

— Сумели нажраться, пусть сумеют и потерпеть, — сказала она. — Им сейчас любая анестезия — как рыбе зонтик.

Польскому сержанту она так молниеносно вправила руку в плечевой сустав, что тот даже не успел как следует выругаться, Зинка быстренько наложила ему тугую фиксирующую повязку, и бедняга тут же был отконвоирован в кузов «ЗИСа» под наблюдение Светличного. За это же время Игорь Цветков обработал изнутри верхнюю губу местному гражданскому, запихнул ему в рот на кровоточащее место бывших передних зубов ватный тампон с перекисью водорода, и гражданский почти вслед за польским сержантом был вышиблен во двор под недреманное око комендантского патруля.

Зайцев и Станишевский стояли у открытых дверей перевязочной и покуривали, пуская дым в коридор.

Мимо прошел старик Дмоховский в стареньком белом халате и поздоровался. Станишевский кивнул ему, а Валера Зайцев демонстративно отвернулся и выпустил кольцо дыма в потолок коридора.

Примчались еще две заспанные сестрички. Увидели уйму незнакомых молодых мужчин, захлопали глазами, срочно попытались придать сонным физиономиям выражение лихости и лукавства.

Француз лежал на столе. Васильева быстро и бережно накладывала ему швы на ягодицу. Зинка ассистировала. Васильева только руку протягивала, а Зинка уже вкладывала в нее то, что нужно. Ни одного слова лишнего. С сорок второго года вместе за операционным столом — о чем говорить-то...

— Где он так умудрился?.. — удивленно покачала головой Васильева.

— Видать, порезался обо что-то, — подал голос Невинный. Он стоял перед очнувшимся итальянцем, одной рукой держал перед ним тазик, а другой заботливо придерживал ему голову. Итальянца тошнило, и он шумно страдал между спазмами.

— Накушался, — ласково, по-старушечьи сказал Невинный.

Васильева бросила быстрый взгляд на итальянца и заметила:

— У него еще и явное сотрясение. Кто-то ему крепенько приложил.

— Кто бы это его? — фальшиво поспешил удивиться Невинный.

Он с трудом удержался от того, чтобы не посмотреть в окно на Санчо Пансу, который, словно изваяние, неподвижно сидел в «виллисе» с автоматом в руках.

— Это тебе лучше знать — кто, — сказал Зайцев. — Ты там был.

— Господи... — плачущим голосом запричитал Невинный. — Уж и кружечку пива нельзя выпить! Да я спиной сидел ко всему этому шуму... Ничего я такого страшного не видел.

Васильева, Игорь и Зинка переглянулись как по команде. Если до сих пор у них были еще какие-то сомнения в причастности Невинного к ресторанному побоищу, то теперь, услышав знакомые жалостливо-лживые интонации в голосе своего любимого старшины, они убедились в том, что Невинный, если копнуть его поглубже и без свидетелей, просто перенасыщен информацией.

Станишевский стоял прислонившись к дверному косяку и понимал, что, если он сейчас же не возьмет себя в руки, произойдет непоправимое — еще чуть-чуть, и ему станет наплевать на присутствие союзников, кучу посторонних людей, на неподходящую обстановку, на все на свете! Он подойдет к Васильевой и громко, без малейшего стеснения, послав к чертовой матери все условности, скажет ей о том, что...

— Товарищ капитан, мы можем ехать? — спросил у него подошедший Светличный.

Станишевский судорожно проглотил подступивший к горлу комок. К счастью, за него ответил Зайцев:

— Сейчас вот этих красавцев обработают — и всех гамузом в одну холодную. Может, до утра протрезвятся.

— А эту бабу?

Светличный показал на неунывающую Лизу, которая болталась по перевязочной, прижимала к глазу марлевую салфетку с примочкой и даже пыталась всем помочь.

Васильева подошла к Лизе, внимательно осмотрела ее заплывший глаз и рассмеялась:

— Ну какая же это «баба», Светличный! Это очень веселая и симпатичная девчонка...

— Да, да! Я очень симпатичная! — по-русски подтвердила Лиза.

— Мы ее у себя оставим, — сказала Васильева. — Коменданты не возражают?

Она посмотрела на одного Станишевского так, словно спрашивала его о чем-то совершенно ином. Он это почувствовал, смешался, глупо пожал плечами и попытался улыбнуться. Зайцев с возмущением втянул ноздри и осуждающе покачал головой.

«Что же я делаю, дура старая?! — подумала Васильева, не в силах оторвать глаз от Станишевского. — Зачем?.. Чего раскокетничалась, корова?!»

Она с трудом перевела дыхание и показала Зинке на француза:

— Зинуля, закрой этому д'Артаньяну шов и посмотри, не кровит ли... Так, что у нас тут? Ну-ка, ну-ка...

Она перешла к англичанину, стала рассматривать выстриженный участок на его голове.

Оставив Светличного в дверях перевязочной, Станишевский незаметно вытащил Зайцева в коридор, притянул его к стене и зашептал:

— Старый, что делать?.. Я совсем чокнулся. Я люблю ее... Я, оказывается, всегда ее любил! Слушай, это же хрен знает что?! От одного звука ее голоса меня начинает бить колошмат!.. Знаешь, как перед атакой — когда страшно до сумасшествия, внутри все трясется и надо идти, назад пути нет... Что делать, Валерий, что делать?..

— Точно, чокнулся! — прошептал Зайцев и испуганно оглянулся по сторонам. — Ну, Андрюха? Нашел время... Что тебе, баб не хватает? Тут тебе так запросто не обломится...

— Да мне ничего не нужно! Я люблю ее, слышишь!.. Это ты можешь понять?!

— Что ж я, дурак совсем, что ли? — обиделся Зайцев.

В эту секунду из перевязочной вылетела Лиза и помчалась по коридору с радостным криком:

— Мальшик! Мальшик!..

Она увидела через окно Вовку Кошечкина, который под покровом темноты откуда-то спер для своей коняги тяжеленный брикет прошлогоднего прессованного сена и с величайшим напряжением волок его через двор. Он был замечен Лизой, когда, пыхтя и отдуваясь, пересекал полосу света, падающего из окна перевязочной.

Лиза выскочила во двор, схватила перепуганного Вовку за руки и втащила в дом. Она проволокла его через весь коридор, втокнула в перевязочную и попыталась объяснить свою неожиданную радость всем окружающим:

— Я искал его!.. Это мальшик с водой для шпиталю... Если бы он забрал меня с водой... Нет! С собой!.. Там на плацу... Этого не было бы. Скандал нихт! — Она показала на передравшихся союзников. Обняла Вовку за шею и сказала, обращаясь теперь только к Васильевой: — Он хороший. Ему ничего не надо. Он — джентльмен!..

Вовка вырвался из Лизиних объятий и очумело огляделся.

— Быстро же ты спроворил себе приятельницу, джентльмен, — удивилась Васильева.

— Да, да! Я пшеательник! Я буду его друг... — обрадовалась Лиза и погладила Вовку по рукаву шинели.

— Врет она все, товарищ майор!.. Я-то тут при чем?

Вовка отшатнулся от Лизы, всем своим видом показывая, что никакого отношения к ней не имеет и, как советский человек, наконец, как служащий Красной Армии, ничего общего с представителем иностранного государства иметь не может.

Но на Васильеву это произвело не очень приятное впечатление.

— Ладно тебе, Дон-Жуан из Конотопа, — презрительно сказала она Вовке. — Ты уж так от нее не шарахайся. Я потом с тобой сама разберусь. Марш отсюда!

Вовка как ошпаренный выскочил из перевязочной. Лиза ничего не поняла, обеспокоенно посмотрела на Васильеву и бросилась вслед за Вовкой.

Несчастного итальянца снова затоснило. Этого оказалось достаточно, чтобы общее нервное напряжение, державшее последние несколько часов самых разных людей в состоянии, близком к срыву, наконец получило выход.

— Да прекрати ты блевать, макаронник вонючий! — первым взорвался американец.

— Оставь его в покое! — угрожающе произнес англичанин. — Ему плохо...

— Когда этот ублюдок воевал против нас — ему было хорошо?! А теперь ему плохо?!

— Что он сказал? Что он сказал? — тревожно поднял голову от стола француз.

— Переводить? — деловито спросил старик Дмоховский у Васильевой.

— Переводите, — спокойно приказала Васильева. — Между союзниками не должно быть никакой недоговоренности.

Старик Дмоховский перевел французам все, что прокричал американец. Француз рванулся со стола и закричал на весь дом:

— Ты много воевал против Гитлера?! Где ты был, сукин сын, еще год тому назад? Где ты был в сорок втором, в сорок третьем?!

С отставанием всего лишь в полслова Дмоховский перевел с французского на английский то, что проорал француз.

— Да если бы не мы — вы бы все с голоду сдохли! — закричал американец и бросился на француза.

Не вставая со стула, англичанин подставил американцу ногу, и тот, споткнувшись, растянулся на полу во весь свой гигантский рост, так и не дотянувшись до француза, которого заслонила своим телом хирургическая сестра Зинка и просто припечатала к операционному столу.

Станишевский, Светличный и Зайцев влетели в перевязочную и моментально растащили союзников по углам.

— Все? Союзники выяснили отношения? — спросила Васильева.

Дмоховский повторил ее вопрос по-французски и по-английски. По-итальянски он переводить не стал, так как итальянец был в таком состоянии, в котором глупо было бы задавать ему какие-либо вопросы. Но союзники молчали, тяжело дышали, бросали друг на друга ненавидящие взгляды.

— Значит, все! — решила Васильева. — Продолжим наши игры. Товарищей комендантов попросила бы пока не отлучаться. Сегодня у нас очень нервная клиентура.

Она усмехнулась и вдруг встретилась глазами со Станишевским. «Господи!.. — пронеслось у нее в голове. — Какое у него лицо... Он же поразительно красив, этот проклятый Ендрусь! Когда он стал таким взрослым? Он же совсем недавно был еще мальчишкой... А теперь эти жесткие складки у рта, запавшие от усталости глаза, резкие скулы... Ох, черт подери, не к добру это!..»

Километрах в десяти от городка прогрохотало несколько орудийных выстрелов, длинной, нескончаемой очередью рассыпался пулемет. Раздались глухие, далекие разрывы тяжелых снарядов...

«ЗИС-5» рокотал двигателем, готовился увозить арестованных в комендатуру. В последнюю секунду Васильевой удалось уговорить Станишевского и Зайцева оставить при медсанбате американца, англичанина, француза и итальянца.

В накинутой на плечи шинели она стояла во дворе у «виллиса», жадно затягивалась папиросой и негромко говорила хрипловатым от ночной сырости и бессонницы голосом:

— Сколько мне завтра раненых привезут, не знаешь, Зайцев? И я не знаю. Мне вон в тех сараюшках еще нужно дополнительные палаты организовать. А они всяким дерьмом забиты доверху. Дрова нужно колоть, печи топить, покойников хоронить. У меня за последнее наступление одиннадцать санитаров, три фельдшера, два хирурга погибли. Одни бабы остались на отделении да Невинный. Да мальчишечка новенький... Где мне людей взять? Тем более что итальянец и француз до утра все равно не очухаются. А те двое проспят и будут вкалывать у меня как миленькие, пока за ними их транспорт не придет. Здесь они тоже будут не на легких хлебах. Ну, Ендрусь, Валерик?..

Затаив дыхание, Станишевский вслушивался в глуховатый усталый голос Васильевой, неотрывно следил в темноте за мерцающим огоньком ее папироски. Из того, что она говорила, он почти ничего не слышал, и она это чувствовала, поэтому обращалась только к Валерке Зайцеву. И не только поэтому. Она знала, что, обратившись к Станишевскому, выдаст себя с головой. Сейчас она даже боялась посмотреть в его сторону, так ей хотелось уткнуться носом в его старенький мундир, ощутить его руки на своих плечах, прижаться к его небритой щеке, почувствовать на своих глазах его сухие, растрескавшиеся губы...

— Ладно, Екатерина Сергеевна, — расслабленно сказал Зайцев. — Имеем право принять самостоятельное решение? Точно, Андрюха? Пускай...

— Конечно, — тихо сказал Станишевский.

Зайцев сплюнул и вдруг стал совершать действия, понятные только ему одному: он молча подошел к «виллису», забрал у Санчо Пансы автомат и сунул его в руки Станишевского. Потом жестом приказал Санчо Пансе перелезть в кузов «ЗИСа», а сам открыл пассажирскую дверь кабины грузовика, встал на подножку и сказал небрежно, буднично:

— "Виллис" я тебе, значит, оставляю. И за всем там прислежу. Так что ты не дергайся. И вообще — вшистка беде в пожатку <sup>[9]</sup>.

Нужно было что-то немедленно ответить Зайцеву, поблагодарить, но Станишевский испугался, что Васильева сейчас скажет, чтобы он не задерживался и уезжал вместе с Зайцевым, и тогда все его слова, его благодарность будут выглядеть смешно и нелепо.

— Спасибо, Валерик, — вдруг сказала сама Васильева. — Ты самый лучший комендант города, которого я когда-либо встречала за всю войну.

— Я — заместитель, — сухо поправил ее Зайцев.

— Ладно, не фасонь, — улыбнулась Васильева и подошла к нему. — Давай я тебя поцелую, хитрюга ты моя московская.

Будто не было полного кузова постороннего народу, будто не сидели в нем пятеро непосредственных подчиненных Зайцева, будто его по десять раз в день целовали красивые женщины-майоры и дело это стало для него привычным и даже чуточку обременительным, Зайцев скучно отвел глаза в сторону, наклонился, подставил щеку. Васильева засмеялась, взяла его двумя руками за уши, повернула к себе лицом и поцеловала в нос.

— Ну, я поехал? — спросил Валерка так, словно ничегошеньки не произошло.

— Проверь по дороге, начала ли работать пекарня, — слетка подрагивающим голосом попросил его Станишевский.

— Обижаешь, начальник.

Зайцев укоризненно посмотрел на него и уже собрался было сесть в кабину, как Станишевский вдруг увидел автомат в собственных руках и удивленно крикнул ему:

— Эй, Валерка! Автомат-то мне зачем?

— Щонженега пан буг щендзи <sup>[10]</sup>, — сообщил ему Зайцев и захлопнул за собой дверцу кабины «ЗИСа».

Грузовик взревел двигателем, заскрежетал разболтанной коробкой передач и выехал со двора медсанбата, подняв облако пыли.

А вместо него в этом же пыльном облаке во двор медсанбата вкатился Вовка Кошечкин с полной бочкой воды. Он сегодня столько раз съездил на речку за водой, что при возвращении погонять лошадь уже не имело никакого смысла. Она сама неторопко плелась к своему стойлу, где ее соседями были еще два представителя тягловой силы — «доджж»-три четверти и санитарный «газик» с фургоном. На обратном пути Вовке только оставалось держать вожжи.

За бочкой, свесив ноги с телеги, спиной к движению сидела Лиза и поглаживала по морде привязанную к телеге корову.

Увидев эту идиллическую картину — ночь, лошадь, Вовка, бочка с водой, Лиза, корова, — Васильева охнула и на какое-то время онемела. Когда к ней вернулась способность говорить, она негромко окликнула Вовку:

— Эй, Кошечкин... Где это вы с барышней корову слямзили?

— Почему «слямзили»? — обиделся Кошечкин. — Ничего мы не слямзили. Корова приبلудная. Их побросали, а кушать им нечего. А у нас от раненых остается — можно стадо прокормить...

— У, да ты у нас хозяйчик!

— Никакой я не хозяйчик, — еще сильнее обиделся Кошечкин. — Можно подумать, что людям свежее молоко не нужно.

Глубокой ночью к импровизированному посту дежурной медсестры вышел на костылях в одних кальсонах и с одеялом на плечах раненый русский солдат и сказал:

— Машенька, там у нас один фриц, который в углу лежит, все стонет и стонет. И чегой-то лопочет. Людям спать не дает. Ты пойдй глянь на него. Человек все-таки...

Сестричка сбегала на второй этаж, растолкала дежурного врача — все того же Игоря Цветкова — и привела его, заспанного и измученного, на первый этаж, в самую большую палату, куда еще утром удалось втиснуть двадцать два «койко-места» — старые железные солдатские кровати, вымытые карболкой и мерзко пахнущим трофейным мылом, и узкие деревянные топчаны, которые предварительно ошпаривали крутым кипятком.

В углу, у самого окна, на скомканном матрасе, в сбитых простынях метался раненый немец. Он что-то говорил Игорю и дежурной сестре, протягивал к ним исхудалые длинные руки с широкими потрескавшимися ладонями, всхлипывал, в изнеможении откидывался на подушку, снова приподымался и о чем-то просил...

Игорь Цветков напряженно вслушивался в бормотание немца, пытался выудить из этого нескончаемого жалобного словесного потока хотя бы несколько знакомых слов, чтобы понять, на что немец жалуется. Солдат на костылях приволок кружку с водой, протягивал ее немцу. Но тот отводил руку солдата и с тоской смотрел Игорю прямо в глаза, о чем-то его умолял.

— Позови старика Дмоховского, — приказал Цветков дежурной сестричке. — Немец что-то сказать хочет. А что — пес его разберет.

Сестричка перебежала улицу, прошмыгнула в усадьбу фон Бризенев и, миновав длинный коридор, постучала в последнюю дверь.

— Открыто, — послышался голос Дмоховского.

Сестричка отворила дверь и увидела старого Дмоховского в очках. Он разбирал какие-то письма и бумаги с пожелтевшими от времени краями, фотографии.

— Збигнев Казимирович, айда со мной! — быстро сказала Машенька. — Там одному немцу совсем плохо...

Не прошло и трех минут, как старик Дмоховский стоял в окружении Игоря Цветкова, дежурной сестрички и русского солдата в кальсонах и на костылях.

Теперь немец умоляющими глазами смотрел только на Дмоховского, ждал от него избавления от всех своих бед, изредка переводя тревожный взгляд на Цветкова и Машеньку — правильно ли они поняли то, что переводил им Дмоховский.

— Он говорит, что у него ужасно болит левая ступня. Он говорит, что у него пальцы на левой ноге огнем горят и боль такая, что он больше терпеть не может... Он просит отрезать ему пальцы на левой ноге.

Цветков и Машенька переглянулись, и Игорь тихо сказал Дмоховскому:

— Нет у него никаких пальцев. У него вся левая нога по колено ампутирована. Этого не переводить!

Солдат с кружкой в руке сочувственно охнул.



— Скажите ему, что мы сейчас попробуем снять боль.

Дмоховский перевел последнюю фразу Цветкова нему. Тот на секунду затих, откинулся на подушку. По землистому лицу, растекаясь в трехдневной шетине, из уголков его глаз поползли слезы.

— Может быть, Екатерину Сергеевну вызвать? — шепнула сестричка.

— Не нужно. Пусть отдыхает. Давай, Машенька, пантопон, морфий, что там у тебя есть... Сделай укол и посиди с ним минут пятнадцать. Он заснет. Спасибо вам, товарищ Дмоховский...

Дмоховскому показалось, что он ослышался. Но если этот военный врач с заспанной физиономией, на которой до сих пор отпечатан след подушечной складки и пуговицы от наволочки, действительно обратился к нему со словом «товарищ», то ситуация складывается презабавнейшая. Неужели круг замкнулся? Впервые его назвали товарищем сорок три года тому назад, когда он — студент математического факультета Санкт-Петербургского университета — был принят в тайное студенческое общество с не очень четким, но пылким революционным направлением. Потом, уже в тысяча девятьсот девятом и десятом годах, под Парижем, в Мурелоне, в авиационной школе Анри Фармана их всех так называл инструктор авиаторского дела месье Риго — маленький, толстенький, смуглый француз с огромными усами и необузданным темпераментом. Поляки, русские, французы, японцы, бельгийцы, немцы, англичане, испанцы — буквально все ученики школы Фармана были для месье Риго «товарищи». Спустя еще десять лет это слово стало для Дмоховского синонимом слов «противник», «неприятель», «враг», При слове «товарищ» Дмоховский стрелял. С тех пор как только к нему не обращались — и «мистер», и «месье», и «пан», и «синьор», и даже «сахиб», но «товарищем» его больше не называл никто. Вот, кажется, сейчас, впервые за столько лет...

— Как вы сказали? — спросил старый Дмоховский.

— Я сказал «спасибо». Простите, что потревожили ночью.

— Пожалуйста, пожалуйста... — растерянно пробормотал Дмоховский. — Я не спал.

По роскошной старинной мебели конца восемнадцатого века была разбросана военная форма двух армий середины двадцатого — польской и русской. Заношенный польский мундир с капитанскими погонами тускло посверкивал советскими и польскими орденами. На русской гимнастерке с узкими погонами медицинской службы вместе с двумя советскими орденами была прикреплена польская медаль.

Большой туалетный стол с трехстворчатым зеркалом — прекрасной работы старого мастера — был завален разным чужим дамским брошенным барахлишком — помадами, пудреницами, кремами. И среди всего этого чужого и покинутого валялся офицерский ремень Васильевой с небольшим пистолетом в трофейной кобуре.

Огромный шкаф красного дерева занимал всю стену. Дверцы его были настежь распахнуты, шкаф был пуст, и только в одном отделении висели рядышком две шинели — польская и советская. На одной из замысловатых бронзовых ручек шкафа висел автомат ППШ.

Широченная кровать с затейливыми расписными спинками была застлана медсанбатовскими простынями с теми же черными печатями ОВС, которыми штемпелевались все рубашки, кальсоны, постельное белье дивизии. По обе стороны кровати стояли красивые прикроватные тумбы. На одной из них лежал пистолет ТТ в расстегнутой кобуре и стояла бутылка коньяка. В пепельнице дымилась недокуренная папироса. На другой тумбочке возвышалась роскошная керосиновая лампа с темно-малиновым стеклянным абажуром и торчком стоял обычный деревянный врачебный стетоскоп.

Лампа причудливо и странно высвечивала мертвую тяжелую люстру на потолке, темные картины в резных золоченых рамах на стенах, затянутых шелковым штофом, и свет лампы трижды повторялся в туалетных зеркалах.

Еле прикрытый одеялом, в кровати лежал Анджей Станишевский с закрытыми глазами. Это его папироса дымилась в пепельнице. Рядом, завернувшись в одеяло, на подушках сидела и курила Катя Васильева. Она затягивалась папиросой и говорила, отрешенно глядя прямо перед собой:

—... Он тяжело умирал... Очень тяжело. У него начался перитонит, и мы ничего не могли сделать. Мы не могли его даже отправить в нормальный тыловой госпиталь. Он был уже не транспортабелен... А я, стерва, сидела рядом с ним ночами, глядела на него и все время ловила себя на отвратительной мысли, что хочу спасти его только для себя! Я, мерзкая баба, не думала ни о его жене, ни о его детях... Я знала — они в эвакуации, где-то в Узбекистане, под Ташкентом. Но я жила с ним с начала сорок второго по июль сорок третьего! Я прошла с ним такое, что никакой жене и в кошмарном сне не приснится!.. У нее хоть письма от него оставались, фотографии... А у меня что?

Она перегнулась через лежащего Анджея, взяла с его тумбы бутылку с коньяком и плеснула в свою рюмку до краев.

Поставила бутылку рядом с собой — между керосиновой лампой и стетоскопом.

Не открывая глаз, Анджей нащупал папиросу в пепельнице, затянулся. Катя еще плотнее закуталась в одеяло, отхлебнула из рюмки, продолжила глуховато, глядя в одну точку:

— А ведь все когда-то было... И мама, и папа... И даже французская бонна водила нас маленьких гулять в Нескучный сад. Где они — папа с мамой? Где эта бонна — Кристина Теодоровна?.. Только он один и был у меня... Похоронила я его на реке Жиздра, у деревни Никитинка, на Орловско-Курском направлении, одиннадцатого июля... А сама уже на четвертом месяце была. Прямо в санбате аборт сделали. И что-то во мне умерло...

Она поставила рюмку рядом с лампой и попыталась прикурить новую папиросу. Пальцы у нее дрожали, спички ломались.

Станишевский открыл глаза, приподнялся на локте, забрал у нее из дрожащих рук коробок и дал ей прикурить. И снова лег навзничь, уставился в слабые малиновые пятна света на черном потолке. И услышал:

— Это уж потом, через полгода, когда нас с вами соединили, я немножко в себя пришла. А ты спрашиваешь, почему у нас тогда с тобой ничего не получилось...

Голос у нее вдруг окреп, она решительно раздавила свою папиросу в пепельнице, смеясь, наклонилась над Станишевским.

— Да и что же у нас с тобой могло получиться? Ты себя вспомни — лежишь, как цуцик, на животе и охаешь!..

Станишевский резко повернулся к ней, притянул ее к себе и зашептал ей в ухо:

— А тебе меня и не жалко было?..

Она высвободилась из его объятий, снова приподнялась над ним, ласково погладила по лицу и честно сказала:

— Солнышко мое... Ну когда же мне было жалеть тебя? Да я таких, как ты, по тридцать пять человек в сутки оперировала! Это сестрички милосердия обязаны вас жалеть, а я должна была сделать все, чтобы ты до госпиталя не умер. Вот я и делала. Хотя мне это не всегда удавалось.

— Я люблю тебя.

— Скоро нас всех двинут вперед, и мы расстанемся.

— Я люблю тебя! Я буду тебе писать... Я хочу, чтобы ты стала моей женой.

— А граница?..

— Какая граница? — Станишевский в ярости вскочил во весь рост. — Какая еще граница?!

— Государственная. Прикройся, Аполлон Бельведерский.

— Да плевать я хотел на это! — закричал Станишевский, торопливо обматывая простыню вокруг бедер. — Я люблю тебя, слышишь? Когда я шел сюда через пол-России — меня никто про границы не спрашивал!

— Тсс... — Васильева приложила палец к губам. — Ендрусь, раз уж ты вскочил, дай-ка я тебя посмотрю и послушаю. Что-то мне не нравятся твои хрипы в легких. Сядь.

Станишевский растерянно сел на широченную кровать.

— Куришь много?

— Нормально... — буркнул он, не понимая, как можно в такой момент задавать подобные вопросы.

Васильева взяла стетоскоп, повернула Анджея к себе спиной и нежно погладила большой шрам, который начинался под левой лопаткой Станишевского и заканчивался почти на поясице.

— Очень симпатичный шрамик, — с гордостью проговорила она. — И шовчик — загляденье. Хоть сейчас в учебник военно-полевой хирургии! Нет, что ни говори, я хороший доктор. Ну-ка, дыши...

Она поцеловала его в шрам и приложила ухо к стетоскопу.

— Реже и глубже. Хорошо... И еще раз. Хорошо! И еще...

Кухня усадьбы была завешана старинной медной кухонной утварью. Грубые полки темного дерева заставлены белыми фаянсовыми банками с притертыми крышками. На каждой банке готическим шрифтом ультрамариновая надпись: «Сахар», «Перец», «Соль», «Шафран»...

В этой огромной кухне было все несоразмерно преувеличено. Чудовищная плита занимала добрую половину кухни. Над ней висел громадный четырехугольный медный колпак с вытяжной трубой, напоминающий крышу небольшого зажиточного дома. Напротив плиты, у высоченных кухонных окон с грубыми безвкусыными витражами, стоял удручающей длины разделочный стол из слишком толстых дубовых досок. Вокруг него торчали восемь чересчур больших стульев с высоченными спинками. Старая кофейная мельница была каких-то невероятных размеров. Даже свеча, стоявшая на столе, достигала почти полуметра и была толщиной с гильзу от противотанкового снаряда. Казалось, что эта кухня принадлежала не семейству отставного генерала фон Бризена, состоящему всего из двух человек невысокого роста, а целому клану гигантов викингов, способных на этой плите изжарить быка и сожрать его в одно мгновение.

Дмоховский сидел за столом и ручной мельницей молот себе кофе. Его знобило. Он кутался в старый клетчатый шотландский плед, мерно крутил медную рукоятку мельницы, слушал хруст перемалываемых зерен и неотрывно смотрел на оплывающую желтую свечу.

На столе стояли спиртовка, медный ковшик с водой и толстая фаянсовая кружка. «Вы знаете, Аксман, у меня буквально разрывается сердце, когда я представляю себе, что вам какое-то время придется сосуществовать с этим скопищем грязных варваров... — говорил ему фон Бризен, когда Дмоховский помогал упаковывать им вещи. — Но двадцать лет мы прожили с вами под одной крышей...» — «Двадцать три года, господин генерал», — поправил его тогда Дмоховский. «Конечно, конечно!.. — немедленно согласился фон Бризен. — И если до нашего возвращения вам удастся сберечь этот дом, в котором мы оба состарились...» Фон Бризен заплакал, и Дмоховский поспешил его тогда успокоить: «Я сделаю все, что в моих силах, господин генерал».

На втором этаже заскрипели половицы, послышались чьи-то шаги. Дмоховский поставил мельницу на колени, заслонился ладонью от света свечи и повернулся к открытой двери кухни. Он услышал, как кто-то спускается по лестнице, и подумал: «Сейчас в дверях появится фон Бризен и скажет: „Вы знаете, Аксман, у меня опять кончилась сода...“ Потом улыбнется, сощурит свои близорукие глаза и тихо добавит: „И уж если вы не спите, черт побери, почему бы нам не выпить по рюмке?“»

В темном проеме кухонных дверей, словно в большой дубовой раме, появились Васильева и Станишевский. Васильева была в юбке и гимнастерке без ремня. На голову и плечи накинута обычный серый деревенский пуховый платок. Под платком топорщились погоны. На ногах — мягкие домашние туфли. Наверное, поэтому Дмоховский слышал шаги только одного человека.

Станишевский был одет по всей форме. На плече висел автомат. И только шапку он держал в руке.

— Не спится, пан Дмоховский? — спросила Васильева.

— Меня вызывали к раненому, пани майор.

— Просто — Екатерина Сергеевна.

— Спасибо.

— Что-нибудь срочное?

— У него болит нога, которой уже нет.

— Это бывает.

— Да, наверное... Хотите кофе?

— Нет, благодарю вас. Спокойной ночи, пан Збигнев.

— Спокойной ночи, Екатерина Сергеевна.

В комнате, где живет Невинный, приютился и Вовка Кошечкии. Вернее, не приютился, а был поселен в приказном порядке. Когда встал вопрос о Вовкином размещении, Невинный заявил, что с Мишкой, шофером «доджа», и двумя санитарями пацана он селить не собирается, потому что ничему хорошему он у них не выучится и молодому, только что призванному в ряды Красной Армии бойцу при всем этом присутствовать совершенно невозможно. Туда, к этим трем невыдержанным старослужащим, лучше всего на сегодняшнюю ночь подселить американца и англичанина. Лизу определили в комнату медсестер — поставили ей топчан, дали матрац и одеяло, простыни и подушку с наволочкой. Француза и итальянца — в помещение для легкораненых, оборудованное в старом каретнике.

В результате долгих соображений тактического характера для укрепления морально-волевых черт и сохранения правильного политико-воспитательного курса в дальнейшем прохождении службы рядового В. Кошечкина было решено поселить его вместе со старшиной С. А. Невинным, что должно было гарантировать подразделение от всяческих ЧП, которых можно ожидать от любого желторотого новобранца.

Итак, в отдельной комнатухе на первом этаже, где еще недавно жила кухарка фон Бризен — фрау Шмидт, успевшая удрать из города раньше своих хозяев, теперь поселились старшина Невинный и рядовой Кошечкин.

Сбив огромными толстыми ножищами тоненькое солдатское одеяльце к стене, разметавшись своим могучим телом, Невинный храпел на кухаркиной кровати, а Вовка тихонько посапывал в углу на соломенном матраце.

Но вот храп Невинного разбудил Вовку, и он поднял сонную голову. Ошалевший от усталости, переполненный впечатлениями последних суток, он не сразу сообразил, где находится, и достаточно долго и тупо сидел на матраце, оглядываясь вокруг. Потом с трудом встал, сунул голые ноги в сапоги, накиннул шинель поверх трусов и майки и осторожно, стараясь не разбудить Невинного, пошатываясь, пошел к двери.

Он выполз в широкий темный коридор, в конце которого желтым теплым светом светилась открытая дверь кухни. Вовка вспомнил, что выход на крыльцо и в палисадник находится где-то в середине коридора, и на ощупь, по стенке, стал продвигаться мимо нескончаемых дверей с бумажными табличками. На табличках были написаны звания и фамилии новых постояльцев. Эти таблички были собственноручно развешаны старшиной Невинным, и полчаса перед сном он, на примере этих табличек, втолковывал полусонному и измученному Вовке правила размещения санитарной службы в условиях фронтовой полосы.

В предрассветной тьме у «виллиса» Станишевский целовал Васильеву.

— Господи!.. — простонала она и еще сильнее прижала его к себе. — Что ты ко мне привязался?! Я — старая, зачуханная, тощая. Ты посмотри, сколько вокруг молодых девок! Я уже давно мужиком стала. Уже забыла, как быть женщиной, понимаешь?

— Ты — женщина... Самая лучшая, самая красивая на всем белом свете. Ты — моя жена. Слышишь? Жена!..

Скрипнула дверь, и на крыльцо выполз сонный, взъерошенный Вовка Кошечкин. Был он в сапогах на босу ногу, в длинных трусах и шинели. Вовка увидел майора Васильеву в объятиях капитана Станишевского, вытянулся по стойке «смирно» и спросил хриплым со сна голосом:

— Разрешите пройти?..

Не отпуская Станишевского, Васильева посмотрела на Вовку глазами, полными слез, и вдруг рассмеялась:

— Что в тебе хорошо, Кошечкин, что ты всегда вовремя. Иди, иди, а то описаешься!

Вовка спрыгнул с крыльца и исчез в палисаднике. Станишевский сел за руль, завел двигатель. Сказал серьезно, торжественно, глядя прямо в глаза Васильевой:

— Я люблю тебя. Мы будем с тобой очень хорошо жить. Лишь бы меня не убили. Пусть ранят — только бы выжить. Только бы нам с тобой выжить...

И выехал за ворота палисадника.

На крыльцо вышла невозмутимая Зинка в длинном цветастом халате, поверх которого была наброшена шинель.

— Выходите за него замуж, Екатерина Сергеевна. Я ведь помню, как он еще в сорок третьем на вас глаза пялил, — сладко потянулась Зинка.

— И что дальше?

— Жить вместе будете...

— Где?

— А хоть в Москве, хоть в Варшаве!

— Я б тебе сказала, где я потом буду жить...

Васильева резко открыла входную дверь в дом, задержалась, пропуская перед собой Зинку, и подтолкнула ее в спину:

— Пошли, пошли.

Опасливо оглядываясь, возвращался в свою комнату Вовка Кошечкин. Он придерживал на плечах сползающую шинель и старался ступать как можно тише. Однако как только он дошел до комнаты с табличкой «Медсестры», дверь тихо скрипнула и приоткрылась.

— Ой! — Вовка отскочил от двери как ошпаренный.

В дверях стояла Лиза, куталась в серое солдатское одеяло и смотрела на Вовку печальными глазами.

— Тебе-то чего надо? — прошипел Кошечкин.

— Вовка... — тихо сказала Лиза. — Я кушать хочу...

— Да где я тебе сейчас среди ночи?.. — злобно зашептал Вовка, но увидел Лизины глаза и осекся. — Ну погоди. Может, чего-нибудь достану. Нашла время жрать!

На цыпочках он побежал в свою комнату, а Лиза притворила дверь, оставив узенькую щелочку для подглядывания. Она слышала, как Вовка добежал до своей комнаты, услышала скрип открывающейся двери, на мгновение в коридор вырвался могучий храп старшины Невинного, потом Лиза услышала, как дверь за Вовкой закрылась. Она судорожно вздохнула, осторожно потрогала пальцами опухоль под правым глазом, проглотила голодную слюну и застыла в ожидании Вовкиного возвращения.

По кухне плыл аромат свежесваренного кофе. Дмоховский перелил кофе из медного ковшика в толстую фаянсовую чашку и взялся мыть ковшик. Потом аккуратно вытер ковшик кухонным полотенцем и повесил его на место.

Он взял свечу и кружку с кофе и направился к себе в комнату. По многолетней сложившейся привычке он решил перед сном обойти весь дом. Так уже было заведено, и Дмоховский не считал себя вправе нарушать давно устоявшийся порядок. Он шел через огромный дом фон Бризенов, и его тень от свечи причудливо передвигалась по старым стенам, проплывала по потолку, растворялась на лестничных ступенях и снова возникала уже на втором этаже. Белели таблички на дверях комнат: «Майор Е. С. Васильева», «Ст. л-т И. П. Цветков», «Санитары, водители а/м»...

Как и прежде, он обошел весь дом, спустился на первый этаж по узенькой лестнице и оказался прямо у своей двери, на которой тоже висела табличка: «Пан З. К. Дмоховский». Руки у него были заняты, и он открыл дверь плечом. Войдя в комнату, он тут же развернулся лицом к двери и так же плечом закрыл ее. Когда он хотел поставить свечу и кружку с кофе на столик, то увидел, что в его комнате сидит молодой, обросший белесой щетиной парень в грубой крестьянской куртке из солдатского сукна и вязаной шапочке с помпоном. На коленях у парня лежал «шмайсер», словно ненароком направленный стволом на Дмоховского.

— Здравствуйте, господин Аксман, — негромко сказал молодой парень в вязаной шапочке.

В серой дымке весеннего рассвета комендантский «виллис» с двумя флажками на крыльях и белым польским орлом на борту кузова медленно пробирался сквозь спящие переулки. Станишевский сидел за рулем, и меньше всего ему сейчас хотелось возвращаться в комендатуру, где комендантский взвод оборудовал для них с дорогим другом Валеркой Зайцевым очень симпатичное жилище. Он знал, что Валерка ни о чем не спросит. Знал, что при всем Валеркином наглом напоре, при отсутствии каких-либо сомнений в правильности совершаемых им поступков, в Валерке живет Богом данная деликатная душа. Анджею хотелось просто хоть немного еще побыть одному.

Он выехал на опустевшую, угонившуюся Рыночную площадь, медленно объехал старый пьедестал и покотил на выезд из городка. Он придумал себе проверку западного дорожного контрольно-пропускного пункта, расположенного в четырех километрах от городской черты и подчиненного коменданту города.

Через несколько минут он выехал на шоссе. Где-то далеко погромыхивали орудия. Там продолжались бои, а здесь был покой, предрассветный сумрак. «Виллис» поскрипывал, переваливался через ухабы, пробуксовывал и забрасывал задок на заляпанных мокрой грязью участках асфальта. Еще только днем здесь проходили танки, еще только вечером дорога была забита войсками, беженцами и военной техникой. А

сейчас — тишина, брошенные повозки на обочинах, рассыпавшийся скарб, силуэты сожженных немецких, русских и польских танков, сгоревшие автомобили, искореженные орудия.

Убаюкивающе урчал двигатель «виллиса». И вдруг... А может быть, ему это послышалось — всхрапнула лошадь, проскрипела и лязгнула какая-то металлическая штукавина, забрэнчала упряжь... И послышался женский голос.

Анджей передвинул к себе поближе автомат и съехал с дороги. Он увидел лошаденку, запряженную в обычный старый однолемешный плуг. Пахала военную землю рано состарившаяся женщина. Это она вчера прокладывала первую борозду. Это из-за нее влетело отставшему танковому экипажу от командира полка майора Мечислава Шарейко. На пустых снаряжных ящиках, защищенные от ветра кузовом полусгоревшего грузовика, закутанные в истлевшее тряпье, спали ее дочери. Это для них мать пахала землю.

Анджей выключил двигатель, вылез из машины, снял ремень с пистолетом и положил на сиденье «виллиса» рядом с автоматом. Он расстегнул верхние пуговицы мундира, стянул с головы шапку и вот в таком «цивильном» виде уселся на край снарядной воронки, глядя на пашущую женщину.

Он нащупал рукой комок влажной земли, размял его пальцами, поднес к лицу и вдохнул ее весенний запах. И подумал о том, что, может быть, только сейчас пришло для него время принимать самые важные, единственно верные в его жизни решения. Он так долго шел к этой земле, к своей Польше, и вот теперь она — холодная, весенняя, с кисловатым пироксилиновым запахом — в его ладонях. Он так ждал настоящей любви — и она пришла. Теперь у него есть все. Осталось только выжить...

Было бы слишком банально, если бы он погиб в сорок третьем под Лениной от немецкого осколка или от братоубийственной пули осенью сорок четвертого, где-нибудь в окрестностях своего местечка, где в течение шести лет ходил в школу. Он прошел со своей дивизией Вислу. Бзуру, Нотец и даже Гвду. И если он сумел выжить до тридцать первого марта сорок пятого года, если ему удалось увидеть сегодняшний поморский рассвет, он просто обязан продержаться до последнего дня войны, потому что у него теперь есть все — и родина, и жена.

Лейтенант в вязаной шапочке сидел на стуле лицом к двери. Озябшими, по-юношески большими ладонями он держал фаянсовую кружку старика Дмоховского и прихлебывал из нее кофе. Из-под куртки высовывался ствол его «шмайсера». Он был направлен прямо в закрытую на задвижку дверь комнаты. Лейтенант не сел в кресло — из него было бы трудно встать, если бы того потребовали обстоятельства. Но на стуле он сидел совершенно свободно, без напряжения. Говорил негромко, но и не понижал голос до шепота, не впивался взглядом в лицо старого Дмоховского, не старался уловить реакцию на свои слова, на свое появление. И поэтому Дмоховский понял, что уже приговорен этим лейтенантом. Лейтенант не оставит его в живых в любом случае: сделает ли Дмоховский то, о чем просит лейтенант, или не сделает. Если Дмоховский откажется сейчас, это произойдет через несколько минут. Стрелять он, конечно, не будет. "Скорее всего он тихо зарежет меня, — подумал Дмоховский.

— А если я соглашусь?..

Он сидел напротив лейтенанта, на своей тщательно застеленной кровати, заложив ногу за ногу. Он был спокоен, и только слегка неестественно выпрямленная спина и высоко поднятый подбородок говорили о внутреннем нервном напряжении.

Мельком, без всякого любопытства, лейтенант проглядел несколько старых фотографий, разбросанных на столе среди пожелтевших от старости бумаг, и сказал:

— Шприц, пенициллин, перевязочный материал. Иглы к шприцу. Побольше. И стерилизатор, пожалуйста.

Он допил кофе старика Дмоховского и поставил толстую фаянсовую кружку на стол, чуть ли не на самый край его. Дмоховский протянул руку и переставил кружку подальше от края стола, поближе к его середине. Он очень привык к этой кружке, и ему было бы жалко, если бы она упала на пол и разбилась.

— Не знаю, смогу ли я все это достать, — сказал Дмоховский.

— Сможете, — улыбнулся лейтенант в вязаной шапочке. — Генерал говорил, что был дружен с вашими хозяевами — фон Бризеннами.

Из Дмоховского вдруг ушло нервное напряжение. Он расслабил спину, чуть опустил голову и даже облокотился на низкую спинку деревянной кровати.

— Да, — сказал он, — генерал фон Мальдер приезжал охотиться к нам, отдыхать. Человек высокой культуры, глубоких знаний. Ему только всегда не везло с женами...

— Теперь с этим у него все в порядке, — серьезно проговорил лейтенант. — И будьте любезны, господин Аксман, все, о чем я прошу, приготовить ко второй половине дня.

«Значит, меня убьют завтра, — подумал Дмоховский. — Во второй половине дня. Почему завтра? Уже сегодня. Это „завтра“ уже наступило».

— Меня может не оказаться здесь, в доме, — предупредил Дмоховский. — Не исключено, что я буду находиться в помещении их госпиталя. Это напротив, через дорогу.

— Я уже знаю, спасибо. Это, пожалуй, даже удобнее. Надеюсь, что сумею разыскать вас, господин Аксман.

К пяти часам утра Станишевский вернулся в город. Комендантский контрольно-пропускной пункт западного шоссе неожиданно оказался укрепленным людьми из KBW — корпуса беспеченьства войскового,

или — по русски — части армейской безопасности, и успокоенный Станишевский даже посидел и покурил с их командиром — пожилым подпоручиком Лазарем Кауфманом.

Его «виллис» неторопливо пробирался сквозь узкие улочки на противоположный конец города, на его восточную окраину, где взрывом авиабомбы был разворочен коллектор городского водопровода.

Еще издали он услышал звук работающего дизель-генератора, заметил в сером небе всполохи электросварки, а когда подъехал ближе, увидел ее отблески в темных оконных стеклах спящих домов.

Траншея, в которой работали саперы Кузьмина, была теперь огромной и сухой. Она занимала всю ширину улицы — от одного тротуара до другого, а в длину протянулась от «студебекера» до трофейного грузовика, освещавших весь фронт работ своими фарами. Из глубины траншеи в небо взлетали столбы голубовато-белого света, гудели плавящиеся электроды, слышалась хрипкая ругань.

Станишевский поставил «виллис» за грузовиком, рядом с генератором, от которого в траншею уходили длинные толстые провода. Внизу, на дне траншеи, несколько измочаленных саперов вместе со своим командиром, девятнадцатилетним младшим лейтенантом, пытались совместить отрезок новой трубы с уже аккуратно обрезанной старой, торчавшей из стенки траншеи. Наготове стоял солдат-сварщик, ждал точного совмещения, чтобы сразу же начать накладывать шов. Наконец трубы совместились, сварщик крикнул:

— Хорош! Держи, не шевелись! — Опустил на лицо защитную маску и дважды ткнул электродом в стык трубы.

Полетел сноп искр, все держащие полутонный отрезок трубы отвернулись, чтобы не опалить глаза. Сварщик «прихватил» стык труб в трех местах и крикнул:

— Отвались!.. — И повел чистый сверкающий шов из жидкого металла и бурой окалины по соединившимся трубам.

Подсаживая друг друга, из траншеи стали выползать солдаты. Младшего лейтенанта, словно тряпчного, вытащили за руки наверх два старых сапера. Он полегал на тротуаре, отдышался и встал. Грязный, измученный, с кровоточащими руками, запавшими глазами, он стоял перед Станишевским, и доложить о проведенной работе у него просто не хватало сил. Он несколько раз пытался что-то сказать, но в конце концов сам отказался от этой мысли и нелепо махнул рукой.

— Ну что, Кузьмин, выдохлись? — с горьким чувством вины спросил его Станишевский.

Девятнадцатилетний Кузьмин только пожал плечами, попытался улыбнуться — дескать, все в порядке, капитан, — и опять ничего не ответил. Это резко усилило ощущение вины в Станишевском. Ему показалось, что он не имел права на эту ночь, в то время как вот такой Кузьмин... В то время как десятки таких Кузьминых стоят сейчас на контрольно-пропускных пунктах всех дорог, лежат в боевом охранении, стонут на медсанбатовских и госпитальных койках, умирают в мокрых окопах совсем неподалеку отсюда, в каких-нибудь десяти-двенадцати километрах от этой огромной генеральской постели, в которой он, забыв обо всем, провел самую счастливую ночь в своей жизни...

Он раздраженно стал искать папиросы и неожиданно для себя наткнулся во внутреннем кармане шинели на немецкий полковничий «вальтер», доставшийся ему вчера во время захвата эшелона. Он вытащил его из кармана, взял грязную, в кровавых ссадинах руку младшего лейтенанта и вложил ему в ладонь теплый пистолет.

— Держи, — сказал он Кузьмину. — Твой.

Кузьмин даже головой замотал, от восторга закашлялся.

— Вот это да... Ну комендант!.. Прямо слов нет!

Он никак не мог оторвать восторженных мальчишеских глаз от изящного «вальтера» и растерянно бормотал:

— Прямо не верится... Я знаешь сколько о таком мечтал!..

— Вода будет? — спросил его Станишевский.

— Будет, — хрипло ответил Кузьмин. — К шести ноль-ноль. Ты только, капитан, потом людей дай, траншею засыпать. Мои уже на ногах не держатся.

Он все разглядывал и разглядывал эту красивую смертоносную игрушку, не веря в случайно привалившее счастье. Он был всего на девять лет моложе Анджея, но Станишевский подумал вдруг о том, что если когда-нибудь у него родится и вырастет сын, то пусть он будет похож вот на этого Кузьмина.

— Спасибо, Коля, — сказал он дрогнувшим голосом.

— Вон кому «спасибо» — пану инженеру... — Кузьмин поднял глаза от пистолета и показал на тощего человека в узком заляпанном пальто.

Привалившись к стене дома, инженер сидел прямо на тротуаре и прижимал к глазам мокрый платок. Рядом с ним стоял солдатский котелок с водой. Не разжимая опухших век, инженер на ощупь обмакивал платок в холодную воду и снова закрывал им глаза. Вода текла по лицу, рот инженера был широко открыт, он тяжело дышал. Над ним стоял младший сержант из саперной роты и сворачивал для пана инженера сигарку.

— Что с ним? — спросил Станишевский.

— "Зайчиков" нахватался, — с сожалением объяснил Кузьмин. — На сварку посмотрелся. Теперь дня на три ослеп. Обычная история. Если бы не он, мы бы тут двое суток загорали...

Станишевский подошел к тощему инженеру из городского управления, которого еще вчера обещал расстрелять, наклонился над ним, взял его за руку и сказал:

— Простите меня, пожалуйста. Я разговаривал с вами в непозволительном тоне. Я слишком давно воюю...

В половине шестого Станишевский подъехал к гарнизонной пекарне. Около нее уже сгрудились брички с ездowymi, полторки, солдаты с обычными носилками. Разбросанные по всему городу польские и советские подразделения прислали к пекарне своих старшин с рапортчиками количественного состава и собственным транспортом для получения хлеба.

В наспех сколоченных лотках из пекарни таскали горячие буханки, сверяли рапортчики с количеством полученного хлеба, высчитывали на бумажках правильность соблюдения нормы выдачи.

Руководил пекарней старший сержант — красивый узбек лет сорока пяти, быстрый, веселый, крикливый. У него работали шестнадцать польских и русских солдат. Никаких трудностей в общении поляков и русских не наблюдалось, языкового барьера будто и не было. Всех их объединяла одна профессия, одно сиюминутное дело, одна униформа. На головах белые колпаки или береты, поверх гимнастеров и мундиров — белые передники. Лица, руки, сапоги — в муке. Те, кто был допущен к тесту или работал у самой печи, вообще были в одних нижних рубашках с закатанными рукавами. Так что сразу понять, кто поляк, а кто русский, было почти невозможно...

— Эгей! — кричал узбек. — Давай, давай!..

Он сам бросался помогать всем — тащить чан с тестом, вынимать хлеб из печи, освобождать формы, укладывать буханки в лотки.

— Здравствуйте, товарищи, — сказал Анджей. — Я комендант города капитан Станишевский.

— Здравия желаем, товарищ капитан! — с неистребимым акцентом прокричал красивый узбек. — Какой такой «комендант»? Старший лейтенант приходил, тоже говорил «комендант»... Так ругался! Так ругался!.. Заяц — фамилия.

— Зайцев, — поправил его Станишевский. — Он тоже комендант. Я — польский, он — советский.

— Ты — польский? — поразился узбек. — Зачем по-русски так хорошо говоришь? Откуда знаешь?

— Долго рассказывать, — усмехнулся Станишевский и присел на какой-то колченогий табурет.

— Тогда кушай, пожалуйста! — Старший сержант протянул Станишевскому горячую краюху хлеба. — Молока будешь? Молока любишь?

— Люблю. Буду.

— Эгей! Молока капитану! — закричал старший сержант.

Тут же появилась литровая алюминиевая кружка с молоком. Только сейчас Анджей почувствовал дикий голод. Он впился зубами в хрустящую горбушку и стал перемалывать ее своими крепкими зубами. Отхлебывая молоко из кружки, он не замечал, что оно течет у него по подбородку, затекает за воротник мундира. Красивый узбек восторженно хохотал, хлопал себя по ляжкам и всем своим видом выражал искреннюю радость восточного человека, которому удалось вкусно накормить незнакомого путника.

— Муки хватит? — спросил Станишевский.

— Сегодня хватит, — смеясь, проговорил узбек. — А что дальше будет — не знаю. Я только на два дня сюда откомандирован.

Мокрый поляк с багровой физиономией отошел от пышущего нестерпимым жаром печного зева, вытер лицо тряпкой и присел рядом.

— Зерна много, — по-польски сказал он. — Пахать надо и сеять. А то мы дальше уйдем на Берлин, а люди здесь голодными останутся. Без хлеба им не выжить. И самим эту землю не поднять. А пока мы здесь...

— Что он сказал? — спросил узбек у Станишевского.

Станишевский вспомнил одинокую женщину в поле, ее спящих в тряпках девочек, изнуренную лошаденку, тянущую жалкий однолемешный плуг, и перевел узбеку:

— Он сказал, что нужно пахать землю и сеять хлеб.

Узбек пригорюнился, лицо его приняло страдальческое выражение, сразу проступил возраст. Он согласно покачал головой, тихо сказал Станишевскому:

— Он правильно говорит, товарищ капитан. Сколько можно убивать землю? Земля как женщина — она рожать должна, жизнь давать.

Анджей допил молоко из кружки и встал. Поднялся и узбек. Поляк остался сидеть, свесив красные натруженные руки между колен.

— Как тебя зовут? — спросил Станишевский узбека.

— Старший сержант Тулкун Таджикиев. Как специалист временно откомандирован в гарнизонную пекарню из отдельного медсанбата. Самый главный повар там! — доложил узбек.

— Майора Васильеву знаешь? — спросил у него Анджей.

— Екатерину Сергеевну? Что ты, товарищ капитан! Такой человек! Такой человек!.. — восторженно прокричал узбек.

— Это моя жена, — совсем тихо сообщил ему Станишевский.

— Ой-бояй! — потрясенно прошептал узбек и осторожно оглянулся по сторонам. — Зачем она не говорила?

— Она сама об этом не знала, — доверительно сказал ему Станишевский и уехал, оставив Тулкуна Таджиева в полном недоумении.

У въезда в комендатуру его перехватил посыльный штаба дивизии и передал приказание генерала Голембовского немедленно прибыть в замок, в его личную резиденцию при штабе.

Через пять минут Анджей стоял навтыжку перед генералом, который был гол до пояса, потрясал зубной щеткой и нервно крутил кран умывальника.

— Почему нет воды в городе? Где твой водопровод к шести часам утра?! Где вода?! Я тебя спрашиваю — коменданта города!

За спиной генерала стоял ординарец с кувшином. В такие минуты ординарец вперял взгляд в потолок или глухую стену и делал вид, что все происходящее вокруг его не касается. Когда генерал чиховстил при нем когонибудь из старших офицеров, ординарец проявлял совершенно поразительную ящеричью способность сливаться с окружающей средой, делаться незаметной, неодушевленной частью обстановки, в которой происходил генеральский разнос провинившегося. Таким образом, его присутствие (если это можно было назвать «присутствием») ни в коей мере не добавляло к общему состоянию униженности виноватого еще и доли оскорбительности из-за того, что все это происходит на глазах нижнего чина. Он был опытным ординарцем и дорожил своим местом.

— Вода будет к шести. — Станишевский посмотрел на свои часы. — Шести еще нет, товарищ генерал.

— Засунь свои часы знаешь куда?! — посоветовал ему генерал.

— Сейчас без пяти шесть, — упрямо сказал Станишевский. — Вода должна быть к шести.

— "Должна быть..." Ты сам-то знаешь, когда она будет? — Генерал полностью открутил кран. — Где она? Где?..

И в тот момент, когда он, разъяренный, повернулся лицом к Станишевскому и спиной к умывальнику, из крана вдруг выстрелила грязно-желтая струя воды, ударила в плоскую раковину и сверкающим веером окатила голую спину генерала.

Голембовский охнул, рванулся в сторону, а из крана неравномерными импульсами била грязная вода, обрызгивая всех стоящих.

— Что рты разинули?! — загремел Голембовский. — Закрутите эту хреновину! Не видите, что ли?!

Станишевский бросился к раковине, завинтил кран, перекрыл воду. Впервые за историю службы у генерала Голембовского его ординарца покинула тщательно тренированная бесстрастность, и от беззвучного хохота он чуть не свалился на пол.

Генерал это увидел и сорвал на нем злость:

— А ну пошел отсюда! Рано тебе еще смеяться над генералами!

Спустя двадцать минут генерал Голембовский был выбрит, причесан и пил чай с бутербродами. Он пригласил Станишевского позавтракать с ним вместе, но Анджей вежливо поблагодарил и отказался, сославшись на то, что полчаса тому назад выпил огромную кружку парного молока с теплым хлебом в гарнизонной пекарне.

— Тогда просто посиди со мной, — то ли попросил, то ли приказал Голембовский.

Анджей сел, спросил разрешения закурить. Ординарец с вновь обретенным выражением сфинкса на лице мгновенно поставил перед ним пепельницу и испарился.

— Как с электростанцией? — спросил генерал.

— Люди нужны, товарищ генерал. Там авиация так постаралась... И не только на электростанцию. Водопроводную траншею нужно засыпать. А она величиной с двухэтажный дом.

— Там же работали саперы из дивизии Сергеева. Куда они подевались?

— Выдохлись. Им после сегодняшней ночи — сутки отлеживаться... Товарищ генерал, я имею право, как комендант города, подать на их командира младшего лейтенанта Кузьмина представление к награде?

— Представляй, конечно. Ты — хозяин города. Тебе сколько человек нужно?

— Рота. Минимум рота.

— погоди... — Голембовский протянул руку на соседний рабочий стол, взял телефонную трубку, попросил Станишевского: — Ну-ка крутни.

Станишевский закрутил ручку полевого телефона.

— Коновальский!.. — закричал генерал. — Спишь? Так я тебе и поверил! Что я, по голосу не слышу, что ты еще дрыхнешь? Дай Станишевскому роту. Ну и что ж, что они отдыхают. Они от войны отдыхают. А мы им мирную работу дадим — чем не отдых? То есть как уже работают?! Да ты в своем уме? Кто разрешил? Это еще что за новости?!

Как всегда в случаях непредвиденных и грозящих крупными неприятностями, Голембовский «протрубил большой сбор». Он приказал адъютанту собрать весь командный состав дивизии и сам лично позвонил полковнику Сергееву.

Ярко и образно, но одновременно с этим просто и доходчиво Голембовский сообщил старшему офицерскому составу дивизии, что один из батальонов пехотного полка майора Коновальского, не поставив



никого в известность и не испросив ни у кого разрешения, самовольно вышел в поле, находящееся в непосредственной близости от расположения полка, и теперь, видите ли, пытается пахать это поле, а впоследствии, видимо, будет пытаться его и засеять! О чем совершенно спокойно сообщает ему, командиру дивизии генералу Голембовскому, непроставшийся командир полка майор Коновальский, которому и в голову не приходит, что как только один из его солдат подорвется на mine на этом идиотском поле, так сразу же майор Коновальский в лучшем случае станет рядовым, а в худшем — привлечет к себе самое пристальное внимание военного трибунала! И если он, генерал Голембовский, еще мог бы понять истомившиеся по земле крестьянские души простых солдат, то преступная безответственность и поразительная беспечность командира — майора Коновальского — его просто приводят в бешенство.

Весь же комсостав дивизии он собрал для немедленного выезда на место ЧП — чрезвычайного, с его точки зрения, происшествия, так как совершенно не уверен, что в остальных подразделениях вверенной ему дивизии, состоящей, кстати сказать, на восемьдесят процентов из крестьян, не найдется еще кретинов, которые полезут на неразминированные участки.

У края пахотного поля стояли автомобили комсостава польской и советской дивизий. Прибыл даже взвод генеральской охраны. На маленьком пригорке, словно на командном пункте, собрались старшие офицеры двух дивизий, возглавляемые генералом Голембовским и полковником Сергеевым.

Постукивал стареньким двигателем какой-то довоенный трактор — тянул за собой четырехлемешный широкозахватный плуг. Обозные клячи, непривычные к полевым работам, спотыкаясь, волочили обычные однолемешные плуги. Весело перекрикивались между собой солдаты в поле. На бурой, тоскливого цвета земле, с которой недавно стаял грязный снег, ярко белели солдатские нижние рубахи и фуфайки с темными пятнами пота на груди и под мышками. Десятка полтора солдат были уже и вовсе по пояс голыми, с карабинами, закинутыми прямо на мокрые спины.

— Но вы же сами вчера говорили, что нужно подумать о пахоте, товарищ генерал... И про весну говорили. И вот товарищ полковник Сергеев тоже поддерживал... — мрачно тянул Коновальский, как бы ненароком прикрывая рот ладонью и стараясь дышать в сторону.

— Ты мне не вкручивай! — обозлился генерал. — Я не с тобой разговаривал. Я говорил с замполитом и товарищем полковником Сергеевым. А от предположений до указаний — дистанция огромная.

— Вы хоть на мины это поле проверили? Саперов пускали? — спросил полковник Сергеев.

Коновальский промолчал и опустил голову, как школьник, не выполнивший домашнего задания.

Станишевскому было искренне жаль майора. Он уже прикидывал, где ему получить роту солдат для засыпки траншеи и работы на разрушенной электростанции, но понимал, что просить сейчас людей для своих комендантских нужд — более чем не вовремя. Это окончательно могло погубить Коновальского.

Генерал вдруг развернулся всем корпусом к подполковнику Андрушкевичу. Тот стоял в отдалении от общей группы и молча смотрел в поле.

— Почему молчит замполит? — вкрадчиво спросил генерал. — Юзек, тебе не кажется, что именно ты должен как-то реагировать на все это?

— Я реагирую, — глядя в поле, сказал Андрушкевич.

— Как же?

Андрушкевич пожал плечами — это должно было означать, что ответ может быть только однозначным, — и сказал:

— По-моему, это прекрасно!

Такого удара от своего замполита Голембовский не ожидал!

— Немедленно прекратить все работы и осторожно вывести людей с участка. Никакой партизанщины, никаких кавалерийских наскоков. Как бы это красиво и благородно ни выглядело, — заявил Голембовский. — Любую акцию нужно готовить самым тщательным образом!

Последняя фраза предназначалась явно для подполковника Андрушкевича, и поэтому все стоящие на пригорке тактично постарались не смотреть в сторону замполита.

Дальше события развивались следующим образом.

Трактор, плуги и бороны были брошены в поле, солдаты Коновальского и восемь обозно-полковых кляч при помощи срочно вызванного взвода саперов были выведены с подозрительного участка без каких-либо потерь. На радостях Коновальский был наполовину прощен и даже частично возвеличен. Как ни крути, а первыми в этом могучем весеннем начинании были его люди! Полного прощения майор Коновальский так и не получил, потому что саперы обнаружили на этом поле такое количество мин, которым можно было бы поднять в воздух полгорода с его замком и Рыночной площадью. По этому поводу капеллан дивизии майор Якуб Бжезиньский сказал, что отныне даже самые грубые и стойкие материалисты, не верящие ни в Бога, ни в черта, обязаны признать хотя бы существование некоей высшей силы, которая уберегла копошившихся в поле людей и не дала взорваться ни одной mine.

А у капитана Станишевского в глазах стояло западное шоссе, придорожный клочок истерзанного войной поля, спящие маленькие девочки, защищенные от ветра кузовом полусгоревшего грузовика; лошаденка, скользящая по мокрой земле; ноги женщины в старых солдатских ботинках с комьями налипшей грязи, ее руки — судорожно белые от напряжения, скрюченные изуродованные пальцы на рукоятках старенького плуга. И медленно возникающая борозда...

Всю ночь генералу Отдчз фон Мальдеру снился один и тот же сон: Берлин, министерство рейхсвера на Биндлерштрассе, и он сам — молодой обер-лейтенант, сотрудник канцелярии Шлейхера, политического советника главного управления сухопутных сил... Его товарищи по отделу — капитаны фон Фитингоф, Отт, Винцер... Он и во сне ясно помнил, что все они уже мертвы, что их уже давно нет на свете, но сейчас почему-то они собрались все вместе, живые, о чем-то шушукуются, поглядывают на фон Мальдера... И фон Мальдер понимает, что против него организовывается заговор. Боже мой, в чем же он виноват? Почему? За что?.. А за окном поздняя осень, слякоть, холодный дождь пополам с мокрым снегом. В отделе холодно, промозгло, с улицы врываются резкие трамвайные звонки, и в сердце растет нелепая, обессиливающая тревога. Ноги от ужаса прилипают к полу. Нужно уйти незаметно, под любым предлогом... В конце концов, пообещать, что он вернется назад сию секунду... Он выходит на ватных ногах из отдела, проходит холодный сводчатый коридор с грязными потеками на стенах, спускается по ступеням почему-то обледеневшей лестницы, и к страху преследования прибавляется боязнь поскользнуться на этих ступенях, упасть назад — на затылок... Он заранее вынимает свое удостоверение, чтобы без задержки предъявить его охране при выходе, цепляется за мокрые, скользкие перила, покрытые тонкой коркой льда. Он боится оглянуться, боится посмотреть вперед — из отдела уже могли позвонить в охрану министерства... Замирая от ужаса, он проходит один пост, второй. Нет никакой охраны. Только пронизывающий холод. Он с трудом открывает последнюю огромную, тяжелую дверь и выходит на Бин... Нет никакой Биндлерштрассе! Перед ним чистое теплое поле. Вместо осени, слякоти, дождя и снега — жаркое, солнечное, сверкающее поле, поросшее какими-то удивительными маленькими ласковыми растениями. От неожиданности его на миг пронзила боль в ногах, и они снова приобрели упругость и силу. Он вскрикнул от удивления и радости и легко шагнул в мягкую полевую траву. И пошел, не слыша своих шагов, не чувствуя своего веса, навстречу яркому, слепящему солнцу, которое заливало желтым теплым светом весь мир...

К утру у генерала почти прекратились боли. Явно понизился жар, и впервые за последние двое суток он почувствовал себя немного лучше. Он даже выпил кофе, приготовленный ему Гербертом Квидде, и съел маленький кусочек ветчины.

Незаметно и бесшумно в бункере появился Дитрих Эберт — лейтенант в вязаной шапочке и крестьянской куртке из грубого солдатского сукна. Он поклонился генералу, присел перед ним на корточки и вынул из внутреннего кармана куртки старую фотографию.

— Взгляните, господин генерал, — сказал он. — Вам это может показаться интересным.

Фон Мальдер вынул из верхнего кармана френча очки, надел их и вгляделся в фотографию. На фоне дома фон Бризенев, около открытого «мерседеса-кабриолета», стоял невысокий плотный человек лет шестидесяти. На нем были брюки-гольф, клетчатые чулки и грубые альпийские башмаки. На голове маленькая тирольская шляпа с короткими полями. На заднем сиденье «мерседеса», под белым зонтом с оборочками, пожилая дама в светлом костюме. Вдалеке, на ступенях, ведущих к центральной двери усадьбы, стоял высокий человек в пиджачной паре, жилете и кепке.

— Боже мой! Это же фон Бризенев! — удивленно сказал Отто фон Мальдер. — Откуда это у вас, Дитрих?

Лейтенант не поспешил с ответом. Он указал пальцем на высокого человека в кепке, стоящего на втором плане, и спросил:

— А это кто, господин генерал?

— Бог мой, Дитрих... Это же и есть Аксман! Зигфрид Аксман — управляющий имением фон Бризенев. Он жив?

— Жив, господин генерал. Фон Бризенев успели эвакуироваться, а он был оставлен здесь.

— Каким образом к вам попала фотография? — поинтересовался генерал.

— Она лежала на столе господина Аксмана. Я подумал, что вам будет любопытно взглянуть на нее.

— И вы захватили ее, чтобы выяснить, действительно ли я знаю фон Бризенев? — улыбнулся генерал. — Ах, мой юный недоверчивый друг, как я вам завидую!.. Неужели вы так свято убеждены в том, что мы отсюда выберемся и кому-нибудь потом понадобятся ваши отчеты?

— А я, например, в восхищении от того, что лейтенант Эберт ни на секунду не забывает о своих служебных обязанностях, господин генерал, — мягко улыбнулся Квидде и с трудом подавил желание разбить физиономии этому наглому абверовскому щенку в вязаной шапочке. — Как я понял, фотография была украдена у Аксмана для примитивной проверки. Не так ли, Эберт?

Лейтенант уловил в голосе Квидде опасные звенящие интонации и встал. Он слишком хорошо знал гауптмана Герберта Квидде.

— Никак нет, господин генерал, — холодно проговорил лейтенант, краем глаза следя за каждым движением Квидде. — Я ни на секунду не сомневался в вашем знакомстве с семейством фон Бризенев. Но я хотел быть уверенным, что человек, с которым я разговаривал два часа тому назад, действительно Зигфрид Аксман.

— Ну что ж, это очень разумно, — согласился генерал.

— Кстати, господин генерал... Вы хотели вспомнить настоящее имя Зигфрида Аксмана. Его зовут Збигнев Дмоховский.

Генерал спрятал очки в карман и отложил фотографию в сторону. Припоминая, он поднял глаза на земляной накат бункера и расслабленно проговорил:

— Да, да, конечно... Дмоховский. Я только не знал, что он Збигнев. Господи, как давно все это было!.. Как давно... Почему же Бризенны не забрали его с собой? Он прослужил им более двадцати лет.

— Они, как сказал Аксман, надеялись, что их эвакуация временна. И рассчитывали, что Аксману удастся сохранить дом до их возвращения, — четко доложил лейтенант Эберт.

— Чем он занят сейчас? — вскользь спросил Квидде.

— Его взяли в русский госпиталь переводчиком. Так что он может достать медикаменты... Он обещал приготовить все ко второй половине дня.

— Как в сказке! Превосходно, — улыбнулся Квидде и вышел из бункера.

Он вдохнул свежий утренний воздух с неуловимым весенним привкусом и ароматом, потянулся до хруста в суставах и, закинув голову, долго смотрел в голые, безлистные кроны деревьев, которые, казалось, были нарисованы черной китайской тушью на сером бумажном фоне. Только одна мысль металась у него в голове, не находя выхода: «Что делать? Что делать? Что делать?..»

От напряжения ему показалось, что китайский рисунок с четкими черными изломанными линиями стал оживать. Но было безветренно, и Квидде понял, что это обычное легкое головокружение. Он прикрыл глаза и опустил голову. Когда разомкнул веки, перед ним стоял верзила, не расстававшийся со снайперским карабином, и вопросительно смотрел на него.

Квидде зашел за куст, помочился и, застегивая ширинку, тихо сказал верзиле:

— На свидание с Аксманом вы пойдете вместе с Эбертом. Для элементарной подстраховки. Как только этот Аксман передаст вам все необходимое для генерала, он сразу же перестанет быть нам нужен. Как и своим хозяевам. Думаю, что вторично нам не придется к нему обращаться...

Верзила не мигая смотрел на Квидде. Их разделял низкий кустарник. Квидде привел себя в порядок, одернул френч и вышел из-за кустарника.

— Понятно? — спросил он, не будучи уверенным в том, что верзила уяснил себе задачу полностью.

Верзила тоже не был уверен в этом и поэтому спросил, почти не разжимая губ:

— Только Аксмана? Или коллега тоже должен уйти?

Квидде с любопытством посмотрел на него и подумал о том, что вот сейчас простым кивком головы он мог бы оборвать жизнь этого паршивца Дитриха Эберта, ничтожного абверовского лейтенантишки, который с наслаждением пустил бы пулю в затылок ему, Герберту Квидде, только потому, что их разделяет целый пласт социальных наслоений и еще черт знает чего, что заставляет их ненавидеть друг друга. И сладкое ощущение власти на миг захлестнуло гауптмана Квидде. Но оно же заставило его отрицательно покачать головой. Будет прорыв, наверняка будет столкновение, а этот абверовский выкормыш достаточно тренирован и натаскан на всякие мерзости, которые могли бы еще пригодиться в решающий момент.

— Вы в своем уме? Как может такое прийти в голову! — строго сказал Квидде. — Только Аксмана. И запомните: если господин Аксман хоть ненадолго задержится на этом свете, он может стать опасным. Впрочем, как и любой поляк...

Он спустился в бункер. Оглядел несколько десятков спящих, дремлющих, сидящих офицеров. За последние двое-трое суток они слились в какую-то однообразную серую массу, растеряв почти все, что еще недавно отличало их друг от друга. Эта бессловесная стая уже почти две ночи спала, не выпуская оружия из рук, и, пробудившись от коротких, тревожных снов, ждала от Квидде решений, которые ему никак не приходили в голову. Это была тоже власть, но уже вывернутая наизнанку. Так сказать, вид со стороны выносившейся подкладки...

От забинтованных ног Отто фон Мальдера тянулся слабый гнилостный запах. Редкими толчками начиналась боль. Через час-полтора толчки сольются в непрекращающееся мучительное страдание и, может быть, к счастью, лишат его хоть ненадолго сознания. Пока фон Мальдер смотрел в низкий потолок бункера и пытался вспомнить свой ночной сон во всех подробностях. Но что-то все время ускользало из памяти — в мозгу оставалось самое незначительное: ледяные ступени, мокрые лестничные перила, пронизывающий холод министерского коридора и безотчетное ощущение ужаса преследования. Причины, связи — все куда-то провалилось, стерлось, исчезло. В памяти задержалось последнее: он выходит из двери, покрытой изморозью, в теплый, ласковый, сверкающий мир...

Ночью в штаб Рокоссовского прибыл с докладом и предложениями представитель польского Временного правительства при фронте подполковник Леонард Боркович.

Представителю Временного правительства вежливо и тактично объяснили, что время для доклада, а тем более для предложений выбрано им, прямо скажем, не самое удобное, так как командующему фронтом уже несколько дней нездоровится и он только недавно лег спать. Боркович интеллигентно выразил свое сожаление по поводу пошатнувшегося здоровья маршала, был накормлен и уложен в одной из комнат резиденции командующего при штабе фронта.

Рано утром о его прибытии было доложено маршалу. Рокоссовский распорядился вызвать командующего Первой армией Войска Польского генерала Поплавского и командиров крупных советских соединений, находящихся в территориальном взаимодействии с Первой польской армией. По странному стечению обстоятельств этот приказ был отдан именно в ту минуту, когда за несколько десятков километров от штаба фронта капитан Станишевский героически закрывал своим телом генерала Голембовского от грязно-желтой струи воды, хлещущей из возвращенного к жизни городского водопровода. Оба

знаменательных события — приказ маршала и подвиг Станишевского — произошли ровно в шесть часов утра тридцать первого марта 1945 года.

Рокоссовский учел удаление штабов соединений от своей ставки, прикинул возможное время на покрытие этого расстояния и назначил совещание на одиннадцать часов ноль-ноль минут. Борковичу было передано, что маршал крайне сожалеет о том, что из-за плохого самочувствия не может его принять раньше начала совещания, но надеется в одиннадцать ноль-ноль услышать от представителя Временного правительства не расплывчатое и пространное выступление, а ряд деловых и конструктивных предложений с учетом конкретных возможностей Второго Белорусского фронта.

Первым в штаб прибыл огромный, могучий и стремительный генерал Поплавский. На правах старого приятеля он был незамедлительно проведен в апартаменты маршала и теперь в расстегнутом мундире, увешанном советскими и польскими боевыми орденами, сидел напротив Рокоссовского за шахматной доской и задумчиво держал в руке ферзя.

Рокоссовский в теплом свитере и короткой кожаной куртке, наброшенной прямо на плечи, нахохлившись сидел у стола. Левое плечо было неестественно поднято, локоть плотно прижат к телу. Из-под свитера выпирал градусник. Маршальский китель Рокоссовского, без каких бы то ни было знаков отличия, висел на спинке стула. До начала совещания оставался час с четвертью.

Еще до приезда в штаб фронта Поплавский успел побывать в местах расположения двух своих дивизий. В одной из них он решил проверить систему укрепления переднего края обороны и лично полез в наспех открытый окоп.

Его продвижение по окопу напоминало шествие Пантагрюэля по предместьям Сен-Марсо, где крыши самых высоких домов еле достигали его поясницы. Огромный Поплавский возвышался над всеми и, не умолкая, распекал командира дивизии за небрежно и мелко вырытые укрытия. Когда же в одном из окопных сужений он со своим огромным животом и внушительным задом просто-напросто застрял и, к великому смущению сопровождавших его лиц, минуту не мог двинуться ни вперед, ни назад — гнев его достиг максимального накала. Пока несколько человек в поте лица своего проталкивали Поплавского через сужение и вытаскивали его из окопа, он успел задать командиру дивизии такую выволочку, что в сравнении с ней все молнии и громы небесные могли бы показаться невинным детским фейерверком.

Вполне понятно, что в следующую дивизию Поплавский нагрянул не в лучшем настроении. За местечко, в котором расположился штаб дивизии, еще вчера шел упорный, тяжелый бой. На этом участке против поляков стояли остатки десятого корпуса СС, и они дрались до последнего вздоха.

Поляки разорвали немцев буквально на куски, но и сами понесли страшные потери. Улицы местечка были завалены польскими и немецкими трупами. Сорока восьми весенних часов оказалось достаточно, чтобы по местечку поплыл сладковатый запах. Похоронная команда падала от изнеможения. А по бывшим улицам шатались одетые неизвестно во что солдаты-победители и горланили старые польские песни. Дивизия, как, впрочем, и вся Первая армия, к этим дням обтрепалась так, что узнать польского солдата можно было только по истерзанной конфедератке или потерявшей какую бы то ни было форму русской теплой шапке с польским орлом. Немецкие мундиры всех родов войск, английские шинели, советские телогрейки-ватники, крестьянские меховые безрукавки... А на что была похожа обувь! В чем только поляк не шел к победе!

Поплавский разнес комсостав дивизии в пух и прах за все на свете. За отвратительный, нестерпимый внешний вид воинства, за полную безынициативность в организации отдыха подразделений и, самое главное, за то, что с улиц и из руин не были убраны трупы, быстрое разложение которых угрожало эпидемиями и болезнями.

Произнося свою гневную филиппику, он понимал, что в ужасном, непотребном виде солдат никто из комсостава дивизии не виновен. Последние три месяца они продвигались вперед столь стремительно, что системы снабжения и обеспечения, и без того уже достаточно обескровленные, не успевали, да и не могли, обмундировать армию, как требовалось. Именно поэтому Поплавский и собирался приехать в ставку командующего фронтом пораньше, чтобы успеть переговорить с маршалом до начала совещания.

Что касается плохо организованного отдыха личного состава, то и тут Станислав Поплавский в душе сознавал, что совладать с людьми, случайно выжившими в кровавой бойне, измотанными в изнурительных ночных бросках и многокилометровых переходах, при помощи бесед, политинформаций, самодеятельных концертов и всего того, над чем должны ломать головы офицеры политотделов, тоже нелегкая задача.

Ну а уж убрать с улиц трупы и своих и чужих они были просто обязаны! Тут им нет никаких оправданий. Рисковать здоровьем и жизнью людей, которые здесь, на возвращенных Польше землях, поселятся после их ухода, они не имели никакого права!..

Спустя десять минут трупы стали вывозить на окраину местечка, к глубокому оврагу, где их встречали рота саперов, один бульдозер и два танковых огнемета. Четыре грузовика безостановочно мотались между местечком и оврагом на окраине.

В последнюю секунду, когда Поплавский уже садился в машину, чтобы следовать в ставку, на его глазах произошел дурацкий случай. При очередной загрузке трупов в грузовик мертвое тело белобрисого немца средних лет оказалось совершенно живым и здоровым телом польского капрала, сильно перегруженного алкоголем. Закинутый в кузов грузовика, польский капрал в немецком мундире очухался и громко завopil, что он провоявал в этом полку с сорок третьего года и не собирается переводиться ни в какую другую часть! И если ему сейчас же не помогут слезть с этого вонючего грузовика, он как-нибудь выберется сам и начистит всем рыло!..

Свои вопли он уснащал такой отборной руганью, что командующий Первой армией Войска Польского обескураженно махнул рукой и приказал своему шоферу не развешивать уши, а немедленно заводить двигатель и уезжать.